
Владимир АЛЕЙНИКОВ

БЫЛО СЛОВО

Проза поэта

Было слово в начале — и слово это было, конечно, СМОГ.
Если СМОГ — то, считай, пролог.
Дар неожиданный. Судьба? Не знаю.
Соль земная да боль сквозная.
Даль блаженная. Горький слог.

В январе шестьдесят пятого, слишком памятного для меня, Змеинового, многотрудного, с испытаниями на прочность, с выживанием ранним, а также с обретением драгоценным духа, света, пути своего, речи, дома, голоса, веры, и надежды упрямой на чудо, и пришедшей однажды любви, явь раскрывшего книгою новой, правь призывавшего мне в подмогу, навь отвадившего навеки от крылатой души, чтоб сердце закалилось и возмужало, с кровью давшегося когда-то, чтоб светлейшим остаться, года, в дни, предвещением ставшие бурь и событий неисчислимых, а именно двадцать шестого числа, да, конечно же, так, вечером зимним, под знаком Водолея, родного созвездия, в Москве появился СМОГ.

Слух об этом распространился, как бывает у нас, мгновенно.
В неизбежности этой виден свой резон и промысел свой.
Может, имя новое ныне и в грядущем благословенно?
Может, выживет слово наше — и легендой станет живой?

В напоминавших сплошную дымовую завесу, похожих на кошмарную псевдомозыку, наслоенных былой эпохи был услышан отчетливо вдруг некий чистый звук, различим был верно взятый тон, вроде зова, клич, скорее, призывный клич, на который, вслушавшись чутко и поняв, почему и где слышен он в пространстве и времени, можно было идти сквозь мглу, сквозь обман ее, сквозь неволю и беду, как на свет маяка.

Владимир Дмитриевич Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Даvida Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Гадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

Словно где-то в глухих снегах, в потаенном заречном урочище, пробудился дремавший дотопе сотни лет вечевой колокол, обрел свой призывный голос, заговорил, — и эхо небывалого этого звона, отважного и заранее обреченного, светлой надеждой и тревогой отозвалось в стосковавшихся по хорошему человечьих усталых душах, расширяющимися кругами поплыло по давно забывшей о всякой, древле привычной, соборности зимней столице.

Заволновались, все оптом, немедленно все разведав и тщательно разузнав, что к чему, что за невидаль этакая появилась на горизонте, почему призыв раздается необычный к объединению и зачем он такое сулит, от чего действительно кругом голова идет с непривычки, на удивление просто многочисленные в то время молодые совсем поэты, ну а с ними еще и прозаики потянулись на отзвук магического, несомненно, странного имени сквозь январскую снежную мглу: в кои-то веки, надо же, представилась им возможность, да еще и какая роскошная, в просторечии просто лафа, на людей вокруг посмотреть, кто такие и чем они дышат, и себя наконец показать!

Настороженно выглянули из дверей левацких, бунтарских, чердачных, поближе к высоким небесам и желанной свободе, что, возможно, когда-нибудь с них однажды въявь низойдет на отчизну, в бесчашье идущую, и на граждан ее, режимом не приветствуемых отнюдь, подозрительных слишком, творческих, колоритных, нищих, с характером, то затворников, то гуляк, праздных, буйных, бывало и так, и подвальных, к земле поближе, но и к воле, само собою, к переулкам, знакомым пивнушкам, уголкам заветным, дворам, убежищ, бункеров, схронов, прокуренных и нетопленных, заполненных до предела твореньями авангардными, разговорами за бутылкой до утра, голосами западными, сквозь глушилок вой, из транзисторов, размышлениями в одиночестве и мечтаниями похмельными о возможном прорыве к выставкам, к стосковавшимся по искусству настоящему, неисчислимым, благодарным, восторженным зрителям и ценителям изумленным вдохновенных трудов, мастерских, бородатые и безбородые, сплошь, конечно, полузапретные, вне приманок официоза и капканов идеологии, прозябающие годами в неизвестности в основном или, что ненамного лучше, в известности для немногих художники, вышли на свет Божий пестрой ордою, со своими, конечно, работами, свидетельствами прозрений, бессонных ночей, наитий, бесспорных, для них, открытий, потащились, галдя, на зов: дорого, братцы, внимание, да и вместе держаться порою все же куда надежнее, нежели тщетно пытаться выбиться поодиночке!

Еще редкие в ту далекую пору, в самой что ни на есть сердцевине шестидесятых, потому-то везде и всюду ожидаемые с волнением, привечаемые с любовью, барды, все, в основном, удалые, голосистые, все молодые, совершенно незаматеревшие, в исполнении не поднаторевшие симпатичных песен, в которых, как могли, выражали эпоху, настроенья людские тогдашние, кто бойчее и посмелее, кто с оглядкой и поделикатнее, вместе с лирикой, в общем котле, подперчив наудачу, смешивая и политику, и сатиру, и, конечно, всеобщий, повальный, неспигаемый юмор отечественный, помогавший всем выживать, настраивали свои рабочие инструменты, гитары и выясняли у знакомых: куда идти, хоть прямо сейчас, немедленно, готовность номер один, со свежими, с пылу с жару, новехонькими созданиями?

Проявили здоровый, в общем-то, интерес к явлению новому старшие, в силу возраста своего и заслуг немалых творческих, представители столичной, весьма избалован-

ной, виды выдавшей богемы, которую, разумеется, на мякине какой-нибудь ни за что ведь не проведешь, сохраняя, впрочем, заметим, некоторую дистанцию.

Засуетились разом любопытные, вездесущие, всезнающие, успевающие побывать в самых разных местах, лишь бы там что-нибудь интересное, ну а лучше, конечно, скандальное, да, желательно, и с последствиями, чтобы им, пронырам и хватам, было что потом обсуждать меж собою, происходило: хлебом их не корми, не надо, и водой не пои, успеется, перебьются, впредь наверстают, а возьми-ка да покажи, потрудись-ка, вынь да положь очередное зрелище.

Здесь же, судя трезво и прямо по всему, назревало нечто из ряда вон выходящее: веяло вроде свободой, уж точно — реальной радостью общения долгожданного, мерещилось столь насущное объединение сил под стягами литературы новейшей и наилейшего, сверхсовременного, надо же, дождались, выходит, искусства, угадывался азарт, и даже вполне ощутимо сквозил временами едкий холодок безусловного риска, что придавало с ходу, встряхивая сознание и напрягая мигмом, заставляя в комок собраться, быть готовым к любым поворотам событий непредсказуемых, особенную остроту пульсирующим ощущениям.

В студенческих аудиториях и в комнатах общежитий, в курилках библиотек, во дворе МГУ, всем известном, находящемся в центре столицы златоглавой, страннопримной, красноезвездной, на Моховой, не случайно вовсе давно уж называемом «психодромом», в салонах богемных для избранных, на тесных московских кухнях — очагах подспудного, тайного, домашнего, с водкой, с чайком, отечественного, родного для многих, инакомыслия, — наконец, на улицах прямо, в учреждениях, на предприятиях и в общественном людном транспорте все, решительно все, говорили почему-то лишь об одном.

- Новость слышали вы?
 - Какую?
 - СМОГ в Москве у нас!
 - Ну еще бы!
 - Это, знаете ли, событие.
 - Что-то в этом все-таки есть.
- (Вечное: с нами Бог!)
- В СМОГ, поскорее в СМОГ!..

Не дремали, конечно, и власти.
В красной масти — сплошные напасти.
Пресловутые страсти-мордасти.
Разорвать готовы на части.
Разобраться бы? Сохранить?
Пожурить бы да побранить?
Нет, куда там! — скорей казнить.
— Проследить!
— Приструнить!
— Устранить!

Идея создания СМОГа принадлежит — придется вам помнить об этом — нам двоим, поэтам, друзьям в далекие годы — мне и Леониду Губанову.

А вернее — все-таки так: моя — поначалу — идея, Ленино — позже найденное, мистически точное слово.

Начиная еще с сентября шестьдесят четвертого года, со времени нашего с Леной знакового знакомства, стремительно переросшего в молодую крепкую дружбу, я все твердил ему, что хорошо бы собрать наших единомышленников, людей интересных, творческих и, что важно для нас, обязательно одаренных, с таким условием, только так, бездарных смутьянов нам не надо, — собрать воедино, потому что в таком вот единстве видел я и хорошую почву для дальнейшего, неперемного, совершенствования, поскольку таковое всем нам нужно и настоящее, то есть плодотворное и достойное, будем в это верить, общение, которого, согласитесь, никогда и нигде, и особенно в годы молодости, когда жажда знаний столь велика, просто ничем не заменишь, настолько оно нужно.

В пример приводил я нашу криворожскую группу поэтов, рассказывал увлеченно, подробности характерные и детали припоминая, как у нас было здорово, как эта дружеская среда помогала мне, вдохновенному и наивному провинциалу, постепенно сформироваться, обрести кругозор, найти свой собственный путь в поэзии.

Среда — это очень важно. И настолько важно, что в будущем, уж поверьте на слово, знаю, что сегодня вам говорю, все ее значение огромное просияет и возрастет.

Среда — это вовсе не стайка, не стадо, — такое стадо можно было увидеть за-просто на любом из московских, бесчисленных, бессмысленных, так вернее и резче, литобъединений.

Среда — это все же сообщество, некая группа людей, где все, так лучше, свои, где люди, чуткие к слову и отзывчивые, подчеркиваю, внимательные к соратникам, но еще ведь и понимающие, сумеют, со всей своей трезвой доброжелательностью, и выслушать, как никто, спокойно и терпеливо, тебя, и, возможно, понять.

Так тогда понимал я это — и был, безусловно, прав.

Среда — это прежде всего, так скажу я, возможность развития, духовного и ментального, возможность движения вперед.

И соратники в этой среде, такой вот, отзывчивой, искренней, образованной, одаренной, должны быть надежными, больше, проверенными на прочность, не с улицы вовсе, но, в хорошем, смысле, особенными, то есть, нечего тут смущаться, слово точное, так и надо, так всегда и бывало, избранными, по крайней мере, пускай, выбранными, отобранными нами, строго, придирчиво, из множества претендентов на членство в среде, на участие в наших предполагаемых сборищах, всяческих действиях и в нашей работе творческой, — здесь, я надеялся, нам поможет наше чутье.

Леня слушал меня — и все, все решительно, что услышит, впрямь по старой присказке русской, то и дело на ус мотал.

Однако надо заметить, никому вообще никогда не желающий уступать свое, порою условное, но, в его представлении, лидерство, в любом, даже малом самом, начинании и в любом, иногда и сомнительном, деле, — видел будущее содружество по-своему — шире, проще, нет, пожалуй, так: примитивнее и не то чтобы демократичнее, но грубее, гостеприимнее, что ли, как-то по-хулигански, как в компанию разбитную принимал бы дворовых ребят, что, как вскоре немедленно выяснилось, нанесло хорошей идее непоправимый ущерб, даже удар, жестокий, как оказалось, пусть не намеренный, но удар, ничего не поделаешь с этим, превратив ее, вот что грустно, с истоков самых, с такого славного, верилось нам на первых порах, начала, в движение, наподобие каких-то категорически неприемлемых, отдающих за версту политикой мнимой и неле-

пой, с душком анархии, с бестолковщиной, с безалаберной и лубочной революционностью: все, мол, к нам идите скорее, кто надумает, кто пожелает, у нас хорошо, у нас привольно, лучше, чем в прочих местах, мы всех принимаем, всех у себя привечаем.

Дал промашку Губанов. Губительную. Ошибся. Переборщил. Не учел разношерстность ринувшейся к нам ошалелой публики.

Но что мне теперь об этом сетовать? Что грустить?

И то слава богу, что все же немало в те дни оказалось рядом с нами действительно верных, вот что ценно, хороших людей.

Леня был неисправимым, неистовым фантазером.

Едва забрезжит какая-нибудь мысль, мало-мальски стоящая, или, может, идея новая, или что-нибудь, с ходу, с маху, безоглядно, с места в карьер, наталкивающее разом его на действие некое, немедленное, причем, действие, потому что иначе он просто не мог, иначе совсем не умел вести себя, попросту сдерживать, контролировать, хоть немного, — как он в голове своей забубенной уже все прокрутит, вообразит, вдохновится, возликует, — и впрямь ему кажется, что, смотрите-ка, все свершилось, как намечалось, ура, победа за нами, вот оно, состоялось, — а на самом-то деле все, ну хоть тресни, хоть расшибись, хоть запей с огорченья горькую, все, всегда ведь, обычно складывалось куда прозаичнее, чем ему, воспаленно-взвинченному, обычно воображалось.

Он и сам, заводной, увлекающийся, независимо от меня, еще до нашей с ним дружбы, носился, как он мне поведал однажды, с идеей сплочения творческой молодежи.

Ему, такому порывистому и столь удивительно быстро, по-сказочному легко, сходящемуся с людьми, хотелось чего-то большого, подлинного, такого, что стало бы делом великим его стремительной жизни, что даже — а кто его знает? всякое ведь бывает! — может, и обессмертило бы в грядущем имя его.

Это было бы уж и вовсе, по-губановски, замечательно.

Мечта о светлом, невиданном, с перезвонами колокольными, с песнопеньями, величаниями, славословьями должными, празднестве, о торжестве свободного, неподцензурного творчества, о выходе с тем, что было нами, пусть молодыми, но труженниками, к тому времени, знаменательному, во всех отношениях, создано, к слушателям и читателям, обернулась для нас, наивных мальчишек, для прочих — героев, страдальцев и даже мучеников, которым все поголовно сочувствовали, как издревле у нас на Руси повелось, которых поддерживал всякий, в ком совесть была не убита, в ком сердце билось горячее, в ком крылатая пела душа, не драмою вовсе, что вы, о нет, натуральной трагедией.

Но иначе и быть не могло.

Ведь самому советскому режиму, с его казенными порядками и громадным арсеналом средств подавления любой нестандартной, новой, свежей инициативы, брошен был нами вызов.

Празднество нашей молодости, несмотря на все огорчительные преграды и многие беды, все-таки состоялось, поскольку, надо признать, молодая упрямая сила была в нас всегда через край, да и творчество наше в итоге, закалившись, окрепнув и выжив, одержало победу над злом.

В нашей мистерии мы честно, с полнейшей отдачей, «на разрыв аорты», бесспорно, сыграли роли свои.

Вот жертвы только нередко бывали, как-то жестоко, не по возрасту, не по правилам, слишком уж велики.

Опыт давался — с кровью, с болью, порой — ценою жизни, ценой изуродованной столь рано и так по-варварски грубо, надолго, судьбы, происходило все — только всерьез, никак не иначе, определялось решительно, бесповоротно, сразу и навсегда.

Выстоять было непросто.

Губанов нашел ключевое слово, пароль, девиз для целого поколения.

Это, все признают, — действительно, без булды, как сказал бы он сам, огромная, личная, вроде Георгия боевого или, может быть, ордена Славы, лишь его, прозорливца, заслуга.

Из песни слова не выкинешь.

Хотя, признаюсь, понимали мы с ним, героем богемным, это явленное неожиданно, в озаренье пришедшее слово совершенно по-разному сразу же и настолько по-своему каждый, что в итоге решили: важно, чтоб осталось оно — со своею несомненной, особенной тайной и своей правотой непреложной — таким, каково уж есть, — ну а мы свои убеждения при себе оставим, поскольку нас, пожалуй, не переделать: оба — личности, оба — с характером, оба — молоды, оба — поэты, и фантазии у обоих предостаточно, — посему слово стать обязано — делом.

Песни, само собою, у нас были тоже разные.

Лишь одна была общая — СМОГ.

СМОГ — об этом я говорю всегда, повторяя сознательно краткое определение былого содружества нашего, поскольку некому больше сказать об этом, да так, чтоб ясно все стало сразу же любому, — значит, сумел.

Сумей состояться как творческая, всем интересная личность, выстоять, выжить, остаться человеком в таких условиях, когда и дышать-то трудно, — вот в чем суть сокровенная этого брошенного в пространство, сквозь все времена, призыва.

Было нас, молодых, собравшихся в середине шестидесятых, как вокруг огня полыхающего, вокруг ночного костра, вокруг всем нам согревающего сердце во тьме сгустившейся понятия светлого — СМОГ — весьма и весьма много.

Сказки мы не увидели. Какая там сказка! С явью, причем советской, режимной, пришлось нам дело иметь. И реальные, вовсе не сказочные, государственные, с партийными билетами, страшные силы старались нас уничтожить, в порошок стереть, растоптать, развеять по ветру, так, чтоб и не вспомнить вовек, чтоб и следа не осталось.

Однако же нас, как ни странно, сумевших выдержать все испытания сложного времени и судьбы, сумевших сказать свое слово и дело свое довершить, и теперь немало.

Есть две основных расшифровки загадочной изначально и магически притягательной доселе аббревиатуры, в галактике нашей культуры созвездием вспыхнувшей, — СМОГ.

Более сдержанная и достаточно содержательная —
Смелость, Мысль, Образ, Глубина.

Более дерзкая, с вызовом бузотерским, всем и всему, —
Самое Молодое Общество Гениев.

Первая — определяет, выразительно, лаконично, меру зная, тогдашние наши устремления и задачи.

Ее-то предпочитал всегда я, всю жизнь, — и тогда, в горнилах шестидесятых, и сейчас, в свои зрелые годы.

Она — и скромней, и достойнее эпатажно-блажной второй.

В ней не то чтобы некая новая программа, что ли, заложена, развивать которую можно бесконечно и совершенствовать, а выявлены отчетливо лишь некоторые, но

важные ориентиры, вехи на пути, — далеко не все, впрочем, из тех, что важны были, в любую пору, для меня самого, для меня лично, конкретно, — в творчестве.

Вторая же расшифровка — больше, причем в открытую, без тени малейшей смущения, без обиняков, говорит о молодой задиристости, о кураже, о гусарстве этаком, напоказ, чтоб видели все и знали, какие же удалцы и смельчаки лихие эти смогисты, чем соответствует впрямь действительности.

Ее всегда, неизменно, предпочитал Губанов. И упрямо стоял на своем.

Гении, мол, и все тут. Целая россыпь гениев.

Да откуда им, стольким, взяться?

Так никогда не бывает, пусть на чудо поэт уповает, фантастика это, мечтания, прикидки навскидку, метания, завихренья воображения, в эмпириях туманных кружение, уж это и Леня прекрасно, лучше некоторых, понимал.

Однако ему — хотелось так думать, хотелось так считать, и никак иначе, вот так он воображал себе содружество наше, — и я сразу же, прекратив споры и уговоры, махнул на это рукой.

Пусть так говорит, пусть так считает. Что с ним поделаешь?

Сам-то Леня всегда ведь знал, как и сам я знал ясно и твердо, что настоящих смогистов, по самому что ни на есть большому, высокому счету, двое всего — я да он.

Чем бы дитя ни тешилось... Пусть резвится. Игра так игра.

Хотя, спору нет, настоящим талантом Господь никого из основных — помимо нас двоих с Губановым — лучших или, можно и так, именитых в чужеземных странах и в нашей несурзадной стране, смогистов, похоже, что не обидел.

И не зарывали мы в землю таланты свои, такие, какие уж были у нас, а развивали их, не сдавали свои позиции и не шли порой на уступки, а мужали и совершенствовались, каждый, понятно, по-своему.

СМОГ никогда, запомните, не был литературным направлением, обособленной группой, дисциплинированной, с установками непреложными, с «цеховой» своею программой.

СМОГ — содружество сил неумных, молодая когорта, плеяда.

Энергия при рождении СМОГа, как при рождении звездной системы новой, оказалась такую мощной, долговечной, жизнеспособной, что питает нас до сих пор.

Больше того, энергия эта питает жизненными токами и современников наших, прекрасно помнящих выступления наши былые, знающих наше творчество.

Есть в этом своя, неподвластная времени, закономерность.

В СМОГе, в годы бесчасья всеобщего, перед каждым его участником, сразу ставилась непростая, подчеркну я, задача: быть!

Это само по себе уже собирало нас, подтягивало невольно, давало ориентиры.

Было ведь на кого нам равняться в годы минувшие, грань забвенья перешагнувшие, было ведь что сказать.

Передавалось это и нашим вернейшим слушателям (в то далекое время, когда стихи в основном, представьте, существовали в устном исполнении, хорошо воспринимались с голоса), и читателям наших, вначале самиздатовских, а потом и типографским способом изданных, большей частью с запозданием изрядным, книг.

И совсем не заморским туманом отзывалось в людском сознании многозначное слово СМОГ, а стойкой, упрямой верой в таинство русской речи, излучающей дивный свет.

Ведушими, то есть главными для всех, поэтами СМОГа, звездами, как теперь говорят, были мы с Губановым.

Потом, поотстав изрядно поначалу от нас, а позже и вовсе отмежевавшись, обособившись, шел Кублановский.

Так уж, естественно, четко, распределились роли.

Мы с Леной — друзья и соперники, норовящие перегнать на дистанции, длинной и сложной, друг дружку в творческом нашем, отчаянном соревновании, — а потом уж все остальные.

Собственно говоря, соперничать, даже в шутку, с Губановым у меня желания, никакого, ни малейшего, никогда и нигде, и в мыслях-то не было.

Слишком был я уже и тогда, в молодую пору свою, в пору бури и натиска общую, неизменно, сам по себе.

Если уж кто и соперничал — то это, конечно, Леня.

Азартный, рискованный во всем, он просто навязывал мне это, ненужное, странное, выдуманное соперничество.

Приходилось, как ни крути, принимать откровенный вызов.

Однако тягаться со мной и в те далекие годы никто, помимо Губанова, помнится, не решался.

(Не случайно ведь, полагаю, года три, пожалуй, назад, в Москве, зимой, в феврале, в одной из нынешних наших, теперь все более редких, все более грустных бесед, со вздохом, со жгучей слезой в уголке слегка воспаленного и неловко, смущенно сощуренного, как от слишком яркого света впереди, усталого глаза, вырываясь навстречу ко мне из своей седины, из морщин, из досадных, броских примет беспорядочной, нищей жизни, из всего, что его тяготило, что ночами щемило, томило, что мешало ему дышать, всем лицом посветлев нежданно, словно к морю шагнув, как встарь, почему-то помолодев, как-то ясно и просто, по-детски, да и только, взглянув на меня, сказал мне Аркадий Пахомов:

— Талантливее тебя, прошу тебя помнить об этом, вообще никого никогда я в жизни своей не встречал!

Ну а мне самому, придется напрямую признаться ныне, давно и прекрасно ведомо, что так все на деле и есть.)

Леня быстро, скорее прочих окружающих, это понял.

И как это бывает в спортивных, допустим, соревнованиях, никому вообще не желая уступать желанное первенство, все-таки поделил, для себя в основном, любимого, это первое место со мной, смирил себя, как умел, сдержал, пересилил, хотя всегда был готов к бунту.

Ревность его, хроническая, чудовищная иногда, не знающая ни меры, ни тактичности, ни приличий, надо честно заметить, была, вопреки людской, только творческой.

Губанов, при всех издержках и свойствах неизъяснимых, парадоксальных даже, характера своего, был достаточно щедр и умен, чтобы не распространять свой, одному ему нужный, соревновательский пыл еще и на многочисленные жизненные аспекты.

Но так ему все же хотелось — быть главным, главнейшим, быть у всех на устах, обеими ногами прочно стоять на этом самом, поди же ты, первом спортивном месте, — что я, совершенно, искренне равнодушный, так я устроен, и тогда, и теперь тем более, ко всяческому дележу, охотно прощал ему эти дворовые, может, ухватки.

Самым важным всегда для меня было то, что его небывалая одаренность, всеми во круг ощущаемая мгновенно, прямо-таки лучилась, была вдруг из него какими-то мистическими, фантастическими, электрическими разрядами, что был он чудесен, весь в сиянии этого света, исходившего от него постоянно, — света поэзии.

Я даже им любовался порой — так был он хорош, так радовался своей стремительной, звонкой славе.

Молодой Губанов, так вышло, так сложилось, и так ведь бывает в поэзии, — это вершинный, несмотря на возраст, Губанов.

Такого в нем вскоре, всего-то через несколько бурных лет, не было больше — меж нами жил совсем другой человек.

Взлет губановский ввысь, к небесам осиянным, — загадка, феномен.

Для литературоведов, понятно. Прежде всего.

Предстоит им еще побряхтеть, как положено — с запозданием, предстоит еще положить свои головы, слишком уж занятые тем, что выгоднее для них, что удобнее в ситуации, называемой ими, при власти любой, как положено, «литературной», а на деле — всегда конъюнктурной и далекой весьма от того, что действительно — литература, предстоит им еще размышлять над загадкой этой давнишней. Как нарочно, она отложена в долгий ящик, — ну точно, для них.

Не для меня же, право!

Я-то в годы молодые наши знал его, как никто, и когда-нибудь, полагаю, еще расскажу об этом.

Сформировались мы оба с Губановым одновременно, параллельно как-то, причем совершенно ведь независимо, вот в чем штука, один от другого, надо помнить, — довольно рано.

Написал и подумал вдруг: почему же «довольно рано»? Нет, как раз очень рано. Верней и прямей: небывало рано.

С этим когда-нибудь еще долго будут потомки разбираться. А разберутся ли наконец-то — вот уж не знаю.

Мы ничего до осени шестьдесят четвертого года, покуда не познакомились, друг о друге вовсе не знали.

Я жил в Кривом Роге, в провинции, он жил — в столице, Москве.

С шестнадцатилетнего возраста я писал серьезные вещи, отказываться от которых и не думаю, даже сейчас, когда уже столько сделано за долгие годы работы.

С Губановым — аналогичная история. Так-то. И он в шестнадцать-семнадцать лет писал уже вещи, которые потом любила и знала наизусть половина Москвы.

Раннее впрямь развитие, — скажут всеядные умники.

Вот-вот. Действительно, раннее. Да не просто раннее. Сразу же определяющее — все дальнейшее творчество.

Помню, поздней, суровой осенью того же, да, именно так, шестьдесят четвертого, полного встреч, событий, наитий, стихов, наверное — в ноябре, потому что было уже холодно, да и снежно, повел меня Саша Морозов к знаменитому, многими чтимому тогда, в былом, человеку, передовому, из лучших московских, преподавателю переполненного студентами-вольнолюбцами МГУ, критику первоклассному и превосходно владеющему словом, устным и письменным, русским, чистым и точным, литературоведу с громким в шестидесятых, честно заслуженным именем, Владимиру Николаевичу Турбину, своему наставнику и Учителю с буквы большой, не только по альма-матер, но и в жизни, что важно тоже, даже более важно, пожалуй, ибо связано с верой немалой.

Турбин жил в ту пору в каком-то скромном, скромнее некуда, невзрачном, без бросающих примет, сразу и не разглядишь, толком и не запомнишь, с ходу и не найдешь, небольшом, кособоком слегка, но достаточно стойком домике, очень московском, даже вроде бы деревянном.

Помню присутствие холода в огромном, простуженном городе, закутанное шерстяным, плотно затянутым шарфом горло, повыше поднятый воротник моего негреющего, демисезонного, легкого, короткого слишком пальто, надвинутую поплотнее зимнюю шапку, даже опущенные, по привычке, вниз, прикрывшие щеки, уши ее, для тепла.

Снег на проезжей части невыразительной улицы, с натугой сдвигаемый в стороны похожими на жуков или каких-то роботов из фантастики зарубежной снегоуборочными, скрежещущими по асфальту скребками, совками, лопатками железными, несуразными, но, пожалуй, необходимыми для работы трудной машинами.

Снег на щербатом, скользком, леденеющем тротуаре, густой, слежавшийся, плотный, высокий, холодный слой давно идущего снега, в который ноги немедленно, как будто бы так и надо, проваливались по щиколотку.

Ботинки мои вначале слегка промокли, потом совсем промокли, да так, что мне приходилось туго, но виду я, разумеется из упрямства, не подавал.

Потом — опять, ну конечно же, снег, уже во дворе, тихом, каком-то окраинном и совершенно безлюдном.

И в небе, свинцово-сером, тусклом, слишком холодном, — кружащийся, завихряющийся, мелькающий, разрастающийся, до боли в затылке, до ряби в глазах, сквозь ресницы сомкнутые прорывающийся к зрачкам то и дело московский снег.

Дом, древесно коричневеющий, отголоском приюта веющий сквозь повальный, обвальный, легальный, эпохальный, вселенский снег.

Возле подъезда — чья-то брошенная машина, похоже — «москвич», постепенно вроде бы, так, на первый взгляд, а на деле быстро исчезающая внутри вырастающего на глазах коренастой горой сугроба.

Дверь, ведущая внутрь, в подъезд, глухо скрипнула, отворилась.

Темноватая, узковатая, с причитаньем скрипучим, лестница.

Дверь квартиры, обитая стертым, в тусклых звездочках желтых гвоздиков, образующих простенький, скромный, чуть заметный узор, дерматином.

Какой-то нелепый, слишком отдельный, самостоятельный, подчеркнуто обособленный, независимо от всего вокруг, от подъезда, лестницы и двери самой существующий, обитающий сам по себе в этом доме и в мире звонок.

Позвонили. Ждали недолго.

Нам открыл Турбин. Улыбнулся. Поздоровался. Пригласил — жестом, словом, взглядом — в квартиру.

Мы, один за другим, вошли.

Комната, одновременно тесная и просторная, вроде бы со сквознячком, но между тем и теплая.

Окно с невзрачными, плотными, отдернутыми свободно в стороны, чуть шевельнувшимися от вторжения нашего шторами.

На синем, с морозной проседью сквозной, оконном стекле — сказочные, былинные, палехские узоры.

Простейшая — самое нужное — с явной мерой во всем — обстановка.

Рабочий — письменный — стол.

Множество разных книг.

Посреди тесновато-просторной, тепловато-прохладной комнаты — почему-то именно в центре, в середине, прямо под лампой, рядом с источником света, — высокий, вежливый, сдержанный в движениях и в эмоциях кумир молодежи Турбин.

Внимательные донельзя, пронизательные, сощуренные, словно вправду самостоятельно, независимо, слишком отдельно от спокойного, нет, статичного, временами почти неподвижного, ни на миг не дрогнет, лица, существующие, своей собственной жизнью живущие, внутренним зрением что-то важное прозревающие здесь и повсюду глаза.

Лицо — с устойчивой маской привычной, непросто давшейся, с годами, невозмутимости, с какой-то сознательно вежливой, сросшейся с ним давно интеллигентностью,

что ли, воспитанностью ли, сдержанностью ли, в чертах, — и что там, за этой оболочкой, какие там бури назревают — поди гадай.

Лицо человека мыслящего, большей частью, видать, и живущего там, в глубоких мыслях своих, выражаясь по-русски — в думах, и только при необходимости, временами, нечасто, изредка, вынужденно, возможно, как в форточку приоткрытую, выглядывающего вдруг сюда, в повседневность, в явь.

Я бы сказал, что это лицо настоящего труженика.

Мыслить — это большой труд.

Об этом вполне убедительно и наглядно мне говорила и сетка легких морщин на чистом, высоком лбу.

А глаза — глаза были грустными.

И почувствовал я тогда в них, глазах, грустящих о чем-то нам неведомом, потаенном, там, за блещущими слегка, чуть расширенными зрачками, в недоступной чужому взгляду глубине их бездонной, внутри, — нескончаемой, давний, дивный, одержимо, в часы любые, в дни любые, оберегаемый от ненужных, грубых вторжений, поддерживаемый упрямо, каждый миг, всегда, неустанно, спасительный и целебный для этого, впрямь отрешенного от быта, от благ, человека, провидческий, творческий, жреческий, блаженный огонь. Жар души.

Турбин хотел непременно услышать мои стихи.

Пришлось мне, сосредоточившись, поначалу закрыв глаза и уйдя в себя, но потом, незаметно как-то, увлекшись и невольно раскрепостившись, по традиции — просто распевшись, да и только, читать ему некоторые мои, те, что вспомнились, по чутью, по наитью, тогдашние вещи.

Для того ведь и приведен был — сквозь холод и снег — сюда.

Полагалось тогда — читать.

Слушал Турбин меня как-то совсем по-своему, чутко, так музыканты слушают, очень внимательно.

Слушал — каким-то особенным слухом, накрепко связанным, как я подумал сразу же, наблюдая порой за ним, с этим вот, внутренним, кровным, в глазах и там, за глазами, внутри его существа, скрываемым, оберегаемым, но все-таки прорывающимся в мир, потаенным, властным, неумным, страстным огнем, жаром его души.

Когда я закончил чтение, он сразу же и решительно, шагнув ко мне, напрямик, сказал мне такие слова:

— У меня такое, Володя, все крепнущее ощущение, что вы — совершенно сложившийся поэт. Настоящий поэт.

И он был, конечно же, прав.

Я и сам это твердо знал.

Вот и Губанов был — сложившийся поэт. Какой уж есть, каким рожден, со всеми своими взлетами, безумными рывками вперед и в стороны, издержками, грехами, но, следует запомнить, — органичный, для некоторых слишком непривычный, неповторимый, фантастически поистине талантливый, решительно во всем.

(А может, и так — из ямба в дольник перешагнем:

Вот и Губанов был — сложившийся — понимаете ли сейчас вы меня? — поэт. Какой уж есть, со своими — всеми — дивными взлетами, всеми — что делать! — издержками, но — живой, во всем органичный, фантастически одаренный.)

Мы с ним были совсем, совсем разные.

Голос, тон, манера, фонетика, интонации, ритмика, почерк, музыка, изобразительность — все, абсолютно все — разное.

Но вот что, и в самом деле, поразительно — в чем-то каждый из нас, полярных во многом людей, дополнял другого.

Почему же именно так происходило? В чем был секрет? Что за странность такая?

Теперь-то я знаю: мы оба в период общения нашего просто были, два друга-погодка, носителями поэзии, выразителями ее, каждый, само собою, по-своему, — но она, поэзия, и она, русская речь родная, в их величии и единстве, в их космической необъятности, такой, что хватало с лихвою всегда, вообще на всех, будто бы изумлялись, радовались тому, что мы с Леней были — подлинными, работали оба — во славу речи, во имя поэзии.

Мы дополняли друг друга точно так же, как дополняют друг друга, допустим, лучи или какие-нибудь светящиеся объекты, выражающие наглядно то, что есть в мире нашем свет.

Дополнение вовсе не схожесть.

Дополнение — это движение оправданное к гармонии.

Один чистый звук — хорошо, а два чистых звука — в терцию, уже звучат как залог будущей светлой мелодии.

Вот в чем дело. Надеюсь, понятно.

И, может быть, вовсе мы друг друга и не дополняли, а просто-напросто — пели, звучали, это была музыка, это было наше тогдашнее пение.

Орфичность — вот что в основе пения этого было, вот первейшее свойство стихов наших — моих и губановских.

И у меня, и у Лени это было — очень ко времени.

Публике это нравилось. Приходилось всегда по душе. Сердце вдруг задевало. Струны порою затрагивало, тайные, но и отзывчивые, — где-то там, глубоко, внутри. Помогало дышать свободнее. Заставляло блеснуть глаза. Изумляло и вдохновляло. Просветляло нередко, пожалуй.

Вот мы и читали, читали, — везде, куда звали нас.

Я почитаю — Губанов меня сменяет, потом снова, бывало, я читаю, потом — Губанов.

Я читал — закинув по-птичьи светловолосую голову, закрыв по привычке глаза, подняв лицо свое вверх, руки расправив крыльями, читал — получалось: пел, читал я — переживая всем существом своим каждое стихотворение, словно заново, тут же, на месте, перед слушателями, его сочиняя, и весь, надолго, неизменно переключался на это чтение-пение, весь уходил куда-то внутрь, в сердцевину голоса своего, этой музыки, сызнава, как и прежде, переполняющей без остатка всего меня, — читал обычно по памяти, по наитию, по чутью, и забывал обо всем, кроме этого звучного, странного для других, для меня самого, но всегда органичного чтения, — о времени, об окружении, обо всем совершенно, — и стоило мне такое чтение-пение непростое всегда и везде огромного напряжения, и когда я читать заканчивал, то стоял обычно, весь вымотанный, взмокший, с ясным, живым ощущением только что, в трансе, в полете, выполненной, огромной, труднейшей, важнейшей работы, и, приходя в себя, успокаиваясь постепенно, я отчетливо понимал: был это — певческий труд. Орфический. Именно так. Видно, в крови это было. Древнюю нашу традицию, ведическую, корневую, — читающий в шестидесятых, я, как умел, продолжал.

Губанов читал по-иному. Он — заводился. Взвинчивался. Притоптывал вдруг ногой, ритм отбивая. Руками взмахивал. Пел. Причитал. Выл иногда. Постановывал. Вздыхал. Срывался на крик. Шептал. Бормотал. Приговаривал. Небольшой, но плас-

тичный, свободный в движениях, словно с разгону вбегал в звучание вещи, читаемой им, — и там, в завихрениях звуковых, в сочетаниях знаков и смыслов, жил, как в волшебном царстве. Властвовал над струением строки, над кружением фразы, над всей пробужденной фонетикой, над строем, казалось, тут же рождаемым. Был — шаманом. Ворожил. В другие миры улетал. В измеренья другие. Возвращался оттуда — усталым. Но — принесшим с собою оттуда свет ему открывшихся знаний, откровений. Придя в себя, совершенно бледный, смотрел, широко распахнув глаза, на собравшихся. Оживал. Улыбался. Курил устало. Долго в нем еще оставалось то, что видел он — там, за гранью повседневности, в том пространстве, где недавно он побывал.

Сохранились, чудом возможно, фотографии старые, считанные: на них я — где-то читающий людям свои стихи.

Скульптор, друг мой старший Геннадий Бессарабский однажды вылепил меня — молодого, стройного, девятнадцатилетнего, в бурный начальный период СМОГа — читающего стихи.

Великий акварелист, незабвенный Артур Владимирович Фонвизин, ценитель искренний давних стихов моих, в мае невероятного, сложного шестьдесят пятого написал мой портрет: и там я — читаю.

И так далее. Вдосталь было самых разных изображений.

И всегда — художники чувствовали и по-своему выражали орфичность, суть изначальную творчества моего.

Сохранились, к счастью, наверное, как свидетельства давнего времени многие фотографии читающего Губанова.

Помню его лицо на них. Какая огромная работа происходила в нем, в его сердце, в душе, в сознании, воспламененном стихами, во время чтения!

Это ведь вам не хихоньки, это не просто так, никаких вообще усилий не прикладывая для этого, читать, как читают обычно свои заурядные опусы прочие, несть им числа и названия нет им, пишущие.

Нет, это всегда — работа.

Всегда — бесконечное творчество.

Писание, то есть создание стихов. И чтение их, воссоздание, всякий раз по-новому, без повторов.

Этот груз — многочисленных, сильных, но не издаваемых вовсе, в самиздате живущих стихов — тащить на себе, годами, даже вконец безысходными, долгими десятилетиями, — ох, какая это работа! Нет, не выразить. Мука просто.

Понимают ли это, хоть чуточку, литературоведы?

Понимает ли это — хоть кто-нибудь из современников наших?

Отчасти, слегка, — наверное.

До конца же — пожалуй, никто.

Кроме самих поэтов.

Мы с Губановым — честно тащили, каждый, понятно, по-своему, груз немалый, нас тяготивший, молодых своих, многим известных, только вовремя так и не изданных во пределах отчизны стихов.

Когда-то, в шестидесятых, без всяких надежд на издание можно было хотя бы прийти к тем, кто жаждали встречи с нами, к тем, кто нашими жили словами, почитать этим людям стихи. Почувствовать — их внимание. Ощутить иногда — понимание.

Вот потому-то мы оба и читали. Часто читали.
Работали — в поте лица, без всяких преувеличений.
Читали. Чтение было — жизнью для наших стихов.
Совершенно ведь разные, знали мы об этом прекрасно, поэты.
Но слушатели доходили до экстаза, бывало. Рыдали, умилялись чему-то, затронувшему чувства добрые их, восторгались.

Нашим чтением, полагаю теперь я, была достигнута некая, крайне важная, гармония своеобразная, ожидаемая людьми давно уже — и наконец-то услышанная, воспринятая искренне и навсегда.

И даже больше, чем просто — гармония, то есть голос, линия мелодическая, — и с нею сопровождение, стройное, ненавязчивое, аккорды какие-нибудь.

Мы, двое поэтов, читающие людям свои стихи, — это было звучание сложное, необычайно мощное.

В нем параллельно шли и развивались различные темы, сразу же несколько тем, сразу много мелодий.

Это была настоящая полифония. Певческая. Жреческая. Лирическая. Эпическая. Контрапункт.

Приветствую вас, учитель, Иоганн Себастьян Бах!..

Да еще и горящие свечи...

Наше время — свеча и полынь.

А душой этой музыки, льющейся так свободно, была — орфичность.

Многие, кстати, верно чувствовали ее.

Не случайно, поверьте на слово, далеко не случайно, Андрей Битов, под настроение, видимо, вспоминая прошлое, написал однажды, году в девяностом, с опозданием, разумеется, изрядным, о нас двоих:

«Рассвет пятидесятых застиг всех врасплох, пока глаза привыкали к свету, сменился закатом, и день шестидесятых так и не наступил — и тут, к ночи, некстати распелись два юных соловья — Владимир Алейников и Леонид Губанов, освещая себе ночь собственным пением. Музыка и дыхание, серебряное горло. Что они пели, так заходясь? Поэзию как таковую. Так ценят певчую птицу — по долготе одной арии. Двадцать лет ночи вытягивали они свою ноту. Песнь Губанова оборвалась вместе с ночью. Алейников привыкает к свету».

К свету я с трудом привыкал во второй половине сумбурных, перестроечных, с крохой свободы, восьмидесятых, один.

Губанова в те времена, с небывальщиной их очевидной, уже не было несколько лет, непростых, быстротечных, в живых.

Нечто схожее было у нас, молодых, но известных, с Леней в отношении нашем к поэзии, в отношении нашем к речи.

Нечто схожее — и различное.

Почему? Потому что — личное.

Разделить его — невозможно.

За него и теперь — тревожно.

А тогда его — берегли.

Уберечь, похоже, смогли.

Сохранить свою суть — сумели.

Шли, по-своему каждый, к цели.

Но — какой же? Каждый — к своей.

Догадаться и ты сумей.

Ты — читатель. Стихи читай.
О подробностях — не пытай.
Вдосталь строк впереди и встреч.
Быть победе! Поручкой — речь.

Приходим куда-нибудь, где нас, героев богемы, друзей закадычных, а может, и вынужденных друзей, временных, связанных тонкой нитью духовной, поэтов, и все этим, в общем-то, сказано, и все-то лишь с этим и связано, как будто свыше приказано и жизнью потом доказано, и творчеством нашим всем, и судьбами нашими, — ждали.

Два парня. Один — типично московский. Другой — нетипичный, вроде — почти столичный, частично — провинциальный.

Одногодки. Я — чуть постарше. На полгода всего. Но все же!
Получалось уже, что Леня, мой соратник, меня моложе.
Ненамного моложе. Но...
Старшинство мое — здесь видно.
Значит, Леня — мой младший друг.
Так считал я. И — все вокруг.
Возраст значил для нас так много.
В годы молодости. Ей-богу.
(Возраст значит сейчас для меня...
Что же значит? Да то и значит.
Пусть о чем-нибудь сердце плачет.
Но — хватает в душе огня.)
Ровесники. Да. Ровесники.
Сверстники. Может — вестники?
Может, и так. Привет.
Всем. Из ненастных лет.

Я — значительно выше ростом, тогда еще — стройный, худой, подвижный, с мгновенной реакцией — на звук, на свет, на малейший шорох, со слухом особым, обостренным, с прекрасным зрением, за себя постоять умеющий, на язык достаточно острый, весь приподнятый, словно рвущийся, прямо здесь, на месте, в полет.

Леня — ростом пониже, намного, но — крепенький, сбитый, складный какой-то, собранный в сгусток энергетический, в цепкий комок, из которого словно то и дело, всех задевая, сквозь время били в пространство электрические разряды.

Я — светлее, чуть с рыжиною.
И глаза у меня — зеленые.
И лицо — степное, широкое.
Лоб высокий. Скулы упрямые.
Скифский, крупный, с горбинкой, нос.
Щеки — выбриты. Губы — сжаты.
Напряжен — и все же свободен.
Дар — при мне. И жизнь — впереди.

Леня — потемнее, темно-рус, даже с приглушенной чернотой. Челка неизменная. Глаза — серые, чуть-чуть с голубизною, с дымкой, с поволокою, с хрустальным отсветом, с огромными зрачками черными, как уголья. На лбу — складка. Нос мясистый,

как-то книзу вытянутой. Брови нараспашку. Щеки пухлые. Комочком — подбородок. Вроде бы — подросток, школьник. Нет, юноша. Главари. К тому ж поэт.

Одеты оба совсем не по-модному, — так себе, то есть что было, то и носили.

Я, как правило, в свитере старом, оранжевом почему-то, и лишь изредка — в пиджаке.

Рубашка под свитером, клетчатая.

Брюки немаркие, темные.

Разношенные ботинки.

Губанов — тоже в каком-то свитерке, с вылезавшим наружу расстегнутым воротником рубашки, порою — в курточке, широкой, короткой, темной.

Брюки, всегда мешковатые, на коленях слегка пузырились.

Ботинки были получше моих, но зато по-клоунски выгибались подошвы их и нелепо все время шаркали.

Словом, одежда простая у обоих. Без всяких изысков.

Было бы что носить, и только. Вполне достаточно.

Чай, не франты. Нам не до этого.

Благо жили поэзией мы.

Никаких вроде явных признаков безусловной горней отмеченности в нас обоих — в глазах, на челе, выражаясь высокопарно, как там пристально к нам ни присматривайся, так вот, с ходу, сразу, немедленно, почему-то не разглядишь. Может, зорче вглядеться стоит? Вдруг откроется нечто важное, небывалое? Вдохновение не написано броско на лицах. Может, вспыхнет? Совсем еще молоды.

В компании — вон какие колоритные дяденьки есть. Кудлатые, бородатые, в джинсах, в кожаных, замшевых куртках. Некоторые — при галстуках, в заграничных добротных костюмах, с перстнями на пальцах, с платочками напоказ в нагрудных карманах. Но таких — меньшинство. Большинство же — небрежно, с вызовом даже одеты. В ботинках грубых. В штанах, заляпанных красками.

Да и тетеньки здесь под стать мужской разношерстной братии. Некоторые — накрашены, при кольцах и при серьгах. Остальные — попроще, выглядят как-то демократичнее, щебечут невзрачными птичками, закатывая глаза. И те, и другие знают цену себе. Вниманием они, столичные дамочки, вовсе не обделены.

Богема! И даже элита, как считают, они, наверное. Всем видом своим показывают, что вовсе не из простых они, что вы, что вы, они особенные, разумеется, даже избранные, несомненно, может быть — призванные, но — к чему? — да не все ли равно! Сигаретным дымком растаяло что-то в прошлом. Какие правила в жизни бурной? Молва охаяла? Жест беспечный — да взгляд в окно.

Мы выпиваем с ними, курим, о чем-то сложном или простом говорим.

Но вот — после всех разговоров и затянувшихся сборов — просят стихи читать.

«Но лишь Божественный глагол...» — как Пушкин, раз и навсегда, сказал, — и все преобразалось.

И все преобразалось вдруг — так, словно подан знак, — и звук сулил мелодии начало.

И за мелодией вослед блаженный разливался свет, чтоб дольше музыка звучала.

И не какие-то юнцы, птенцы, пускай и молодцы, стихи собравшимся читали — но их поэты. Их! И все — богемный цвет во всей красе — прекрасно это понимали.

Ко времени СМОГа у каждого из нашей чудесной двоицы имелся уже, представьте, внушительный свод стихов.

Не какой-нибудь там несчастный десяток-другой текстов.

Сотни стихотворений и довольно больших поэм.

Вот что людей поражало. Прямо-таки озадачивало: как же это они, такие молодые, успели, сумели?

А вот между тем успели.

Так судьба вела. И сумели.

Молодость я вижу, явленную вновь.

Двоица премудрости — Истина, Любовь...

С Кублановским, которого звали мы все по-свойски, запросто, Кубиком или просто-напросто Кубом, получалась уже какая-то на поверку слишком условная, не совсем понятная троица.

С натяжкой, конечно. С большой.

Разве что — с доброй душой.

Но такой вариант, хоть Губанов и ворчал иногда на Куба, и претензии разнообразные, обоснованные вполне, к нему нередко высказывал, нас тогда почему-то устраивал.

Это несколько позже картина изменилась неожиданно. Да как!

Но об этом — нет, не сейчас, как-нибудь, при желанье, потом.

К основному ядру СМОГа приросло такое количество народу, что вспомнить всех сейчас я не в состоянии.

Да и незачем нынче, наверное, их, бесчисленных, вспоминать. Многие, большинство, со временем незаметно, исподволь как-то, естественно, без излишнего шума, тишком, отделились или стали успешно весьма работать в далеких от литературы, новой, оригинальной, и новейшего, авангардного, современного искусства, за которые в оны годы столь активно и страстно ратовали, с практической точки зрения удобных для них областях.

Назову, с отбором сознательным, по причинам весомым, некоторых наших бывших соратников, жизнь и судьба которых определилась в той или иной мере под знаком гостеприимного, свободолюбивого СМОГа...

...И тут я прервал свой рассказ.

По всего-то одной-единственной, но зато уж важной, такой, что важнее не бывает, пожалуй, мистической прямо причине.

Я понимал, что должен, нет, просто обязан сказать о СМОГе — по-своему, то есть так, как сказать в состоянии в наше время лишь я один.

Больше — некому говорить.

Да никто и не знает всего, что известно мне, потому что, хоть и живы другие смогисты, не они ведь создали СМОГ.

Я отчетливо понимал, что следует мне написать — пускай для начала, пока что, хотя бы простенький текст, познавательный, что ли, в хорошем, понятное дело, смысле этого слова, — нечто вроде своеобразного, нужного пояснения — для интересующихся, благо их много, а толком никто ничего не знает.

Потому и приходится мне — отдавал я себе отчет в этом — не напоминать, а сызнова все объяснять.

Растолковывать даже — чтобы внести в эти сонмы вопросов, которые столько лет задают мне разные люди, в разной степени любознательные, и особенно молодые, в эти скопища всяких вопросов, напоминающих изредка пенящиеся под свежим, налетевшим внезапно бризом, плещущиеся растерянно, вкривь и вкось, винтом, гребешки морских, грузноватых, медлительных, широких, с налетом свинцовым, с полосками сине-

ватыми, с прожилкою малахитовой, соленых, слоеных волн, движущихся спорадически к берегу нашему, некоторую, наподобие азбучной, ясность.

Пусть это подобие стихии немного утомится.

Я понимал, что просто вынужден написать хотя бы сжатый, доступный всем и каждому, текст.

Как говорится, для справки.

Больше того, был мне — голос.

Откуда? Конечно, из памяти.

Он буквально потребовал, чтобы серия книг моих о былой эпохе и людях, населявших эту эпоху, начиналась именно СМОГом.

Я попробовал объяснить, что о СМОГе уже в этой серии и так предостаточно сказано, в разных ее частях.

Не хотел начинать со СМОГа.

Уверял, что сразу нарушатся — архитектоника, лад, то есть, попросту говоря, вся музыка. Но куда там!

Этот голос — из памяти, из былого, из времени — моего, сокровенного, личного, чистого времени, за которым, клубясь и тревожась, вставало пространство и уже назревало звучание речи, хранящей спасительный свет, — и слышать (упрямься, ну точно как сам я всегда) ничего не желал.

Он твердо и резко, так, что куда уж тверже и резче, заявил: СМОГ будет — в начале!

И тогда я смирился. Что делать!

Пусть написаны книги — и мне поработать осталось над ними, чтобы все привести в порядок, чтоб душою был я спокоен за них, — но уважить надо мне, конечно, голос из памяти, потому что моя это память, а не чья-нибудь, потому что и во времени я свободно путешествую, да и в речи, в русской речи, в стихии этой, животворной, вселенской, кровной, сорок с лишним уж лет я дома, — и начну я писать о СМОГе.

Вот и стал я работать. Был вечер. Незаметно и ночь пришла. Я трудился. Вначале раскачивался, а потом и втянулся. Встал. Посмотрел за окно, в черноту рыхлой, влажной зимы столичной, с огоньками ее, с отраженьем в темном, звонком стекле оконном, словно в зеркале, нет, в зазеркалье, там, за гранью, лампы настольной и лица моего. И вдруг...

Вдруг я понял, что все — не случайно. Так всегда у меня бывает. Я услышал громкий оклик издалека. И вслед за ним — зов. И — звук. А за ним — и свет различил во тьме заоконной.

Кто там? Что там? Зачем? Время СМОГа?

Ну конечно же. Это оно.

Потом словно щелкнуло что-то, само по себе включилось, в небесах ли зимних суровых или где-нибудь здесь, на земле, да не все ли равно, где именно, важно то, что совпало, сомкнулось нечто нужное, пусть и незримое, как дыхание, необходимое, звук дающее изначальный, находящее верный тон, приводящее речь в движение, строй дарующее и смысл всем словам, и мыслям, и краскам, проясняющее, как молния, память, книгой раскрытую вдруг, чтобы снова магический круг разомкнулся, чтоб вышли ко мне все, кто ждали вон там, в стороне, и молчали, чтоб вновь ожило все, что в сердце когда-то цвело, все, что может звучать и расти, чтобы радость в пути обрести, ну а с нею и счастье труда, чтоб вела и хранила звезда, я сразу же, как-то мгновенно, не умом, а хребтом, осознал: работать я стал поздно вечером, в четверг, да, конечно, двадцать

четвертого января, в нынешнем, то есть две тысячи втором, ни больше ни меньше, начинающемся году, в двадцать первом веке, представьте, до которого дожили мы и в котором живем, кто с чем, а теперь уже ночь — и, значит, двадцать пятое ныне число, — и следующей, неведомой, пока что, бессонной ночью будет двадцать шестое, да, так, января, столь грустная, светлая, мучительная, рачительная и памятная для меня дата создания СМОГа.

И тут же, словно прозрев, ощутил я всю необычность этой грядущей, зовущей к себе, знаменательной даты.

Боже мой! Да ведь тридцать семь лет прошло с той поры, когда появился в Москве наш СМОГ!

Тридцать семь! Роковое число — для поэтов? Нет, вековое. Потому что жива душа.

Потому что жива поэзия.

Потому что и СМОГ наш — жив.

Несмотря ни на что. Вопреки всем несчастьям и бедам. Он выжил.

Потому что он — смог. Сумел.

Вот чей оклик — и зов — и свет — этой ночью ко мне пришли.

Возвратились — и встали рядом.

Не случайно все это, знаю.

В который уж раз убеждаюсь: то, что найти должно свое выражение в слове, приходит ко мне само.

Вовремя. Именно так.

Лишь тогда, в день такой, в час такой, в такую минуту волшебную, когда не записывать это ну просто никак нельзя.

СМОГ пришел — в аккурат накануне своего, незаемного, личного, тридцатисемилетия славного.

Надо работать. Пора.

Может быть, поскольку друзья мои, уцелевшие и ушедшие навсегда, господа и дамы, звезды всех промелькнувших лет, совершенно все в этой книге само по себе и вовремя приходит ко мне, то и книга — непременно вовремя выйдет?

В свой намеченный свыше час.

Оклик, зов и свет! Жду я вас.

Выйдет все-таки? Вы уверены?

Что же, вместе будем надеяться.

Это кто мне теперь говорит?

Ах, это вы, современники. Вы, мои редкие гости. И особенно — молодые.

Сколько уж лет вы меня донимаете, беспокоите, озадачиваете своими нескончаемыми вопросами!

Вот и сейчас, без всяких предупреждений, запросто, повинуюсь вовсе не прихоти, но желанию разобраться в чем-то, важном и нужном для вас, в том, что сами поймете, надеюсь, и осмыслите обязательно, чтобы знать об этом потом, умудрились вы появиться, пусть и в мыслях моих теперешних, все равно ведь и это — реальность, и напомнили о себе.

Вижу я, на сей раз от вас так просто уже не отвяжешься. Упрямые вы, однако, если что-нибудь надо вам, люди.

Больше не от кого сегодня об этом услышать, особенно с подробностями и деталями характерными? Тоже верно.

Знаете что, любезные, умные, интересные, пытливые, прозорливые, вполне вероятно — счастливые?

Так и быть, кое-что, немногое из того, что сказать в состоянии, что клубится на расстоянии то ли вытянутой руки, то ли прошлой эпохи, сложной, беспощадной и невозможной, отшумевшей вдаль, непреложной, как и встарь, доселе тревожной, навсегда, расскажу я вам.

Вы меня уговорили.

Если хотите, можете, в духе постмодернизма, которым заражены вы поголовно, толком не ведая, что за штука такая этот разгулявшийся нынешний «изм», уж ясно, что не смогизм, не изумизм губановский, не моя тем более проза, которая, как полагают некоторые критики, серьезные, даже солидные, уникальна и неповторима, поскольку, так получилось, это еще и поэзия, считать это импровизацией, в какой-то мере, — для вас. Хотя, скорее всего, будут это лишь некие связные, меж собою таинственно связанные ритмом, строем, пластикой, музыкой, мыслью, памятью, светом давнишним и теперешним, звуком, ведущим за собою, всей речью родною, наброски, записи, образы, отрывки, фрагменты, куски, — так, что в голову мне придет, причем, совершенно свободно, как говорится — по ходу.

Может, в такой вот, раскованной, но и собранной тем не менее, сбитой в сгусток, в магический шар, ощущаемой мной как дар, потому и вполне оправданной всем роением ее, фрагментарности — лучше всего высветляется и само желанное целое.

Одно, как известно, дело — ровная, непрерывная, вроде шнура, натянутого между двумя обструганными, забитыми в землю колышками, линия повествования.

И другое дело совсем — прерывистая, пульсирующая, джазовая — позволю определение это себе — с упоительно звонкими, вдохновенными, дерзновенными, разнообразными ритмами, с приоритетом светящегося в полете над миром звука над скучным звукоподобием, размеренным и занудным, с акцентами закономерными, синкопами небывалыми, паузами, за которыми грядет нарастание мощное музыки жизни бескрайней, музыки речи родной и всего, что встает за этим изумленьем и постиженьем драгоценным празднеством, — линия.

Мне думается, что в такой вот прерывистости органичной, пусть для некоторых непривычной, очень личной, отнюдь не теплой, драматичной, лиричной, эпичной, безусловно, трагичной, этической, с тою мерой, что впрямь поэтической, эталонной слышит, гармоничной, вот и все, никакой не практичной, изначально самокритичной, потому-то всегда и тактичной, только подлинной, щедрой, первичной, по наитию, по чутью, чтобы песню создать свою, чтоб мелодии новизна пробуждалась, точно весна, после зимних снегов и вьюг, чтобы солнце вставало вдруг над строкою любой и словом, над забытым в пространстве кровом, в измереньях любых, сквозь время, сквозь любое, в бесчасье, бремя, есть много своих достоинств и преимуществ даже.

Так говорить и писать — значит, прошу запомнить, говорить и писать динамичнее, в таком свободном движении, как-то сам по себе, возникает своеобразный монтаж кадров или же образов зримых, но все же читаемых глазами с листа, нахлынувших разом воспоминаний, размышлений, историй, сцен, отступлений и возвращений к нужной сцене, связей, сцеплений, звеньев, нитью скрепленных сквозной, — не знаю уж, как поточнее назвать их, эти кусочки.

Вообще, скажите-ка мне, что за диво такое — форма?

Форма — это дыхание автора.

В ней — и стиль, и пластика, вся, как светящаяся привада.

Что такое тогда содержание?

То, что в данном, конкретном случае говорит находящийся в трансе, несомненном, творческом, автор.

А мало ли что и мало ли о чем он может, настроившись на волны свои запредельные, на частоты свои нездешние, выходя на связь безграничную с кем-то в космосе, говорить?

Каждому ведь свое.

Наитье. И с ним — чутье.

Прозренье. И с ним — пробел.

Был — смел. И остался цел.

Сумел разобраться. Смог.

(Других-то — в бараний рог!..)

Выжил. Явь или сон?

Кружение времен, имен.

Созвездия. Гроздь слов.

И вновь ты к рывку готов.

И вот побеждаешь вдруг.

СМОГ. Магический круг.

Однако, гости мои, слушатели, читатели, раз уж вы так возжелали услышать, а может, и в книге изданной прочитать что-нибудь, хоть небольшое, пусть, для начала, знакомства, о СМОГе, да еще к тому же и с некоторыми, для вас интересными, ясно, для меня же — и сам я не знаю, каковы они будут, но жгучими, как огонь полыхнувший, острыми, словно иглы в шитье, подробностями, с именами, с конкретными фактами и всем прочим, чего не счесть, что погоду обычно делает в тексте, ауру создает, атмосферу необходимую, звук находит, единственно верный, по традиции устоявшейся незаметно тон задает, словом, утренней птицей поет за окошком, свободно и смело, — то приступим, пожалуй, к делу.

Смотрите-ка, вы обратили внимание нынче на то, что сам процесс постижения вашего, современного, нашего, чудом выжившего, доселе для всех интересного, с некоей тайной, видимо, не иначе, легендой ставшего и позиций не сдавшего СМОГа — есть прежде всего процесс движения неудержимого, пружинистого развития?

Может, беседа с вами, в чем-то я и повторюсь ненароком, а кое-что и сознательно повторю, ибо помню завет Чингисхана: если хочешь, чтоб мысль твоя запомнилась, не ленись ее повторять, — а то и принципиально, упрямо подчеркну что-нибудь существенное, но, друзья мои, все равно ведь в этом властном движении вдруг да возникнет, само по себе, вот, мол, я, принимайте меня таким, каково я, сограждане или всякие там иностранцы, слависты, допустим, какие-то любопытные, нечто новое, для вас, для кого-нибудь, кто услышит, кто прочитает, кто попробует разобраться, постарается что-то понять, и принять, вполне вероятно, коли по сердцу будет ему то, что я говорю, и запомнить, хоть рассказ мой, — вот вам, пожалуйста, я уже кое-что подчеркиваю, — чистая импровизация.

Очень возможно, что так вот и надо: идти вперед, нащупывать, находить в самом движении — главное, и пусть швы наружу порой, и наскоро что-то сметано, и пусть монолог невольный переходит вдруг в диалог, а потом я уйти могу незаметно куда-то в сторону, а потом и вернуться к теме, — все это, впрочем, неважно, а важно то, что

из разных, пестрых с виду кусочков, из этой вот любопытной, радужной, дробной мозаики — между делом, исподволь как-то, удивительным образом, право, складывается желаемое целое, и причем такое, какое иными средствами, как ни старайся, как ни пытайся достичь гармонии, полифонии, нужного равновесия, соразмерности всех частей, зрительного эффекта, звучания и всего, что делает прозу не только прозой, но и поэзией настоящей, весьма вероятно, ни за что никогда и не выразишь.

Вспомните, к примеру, «8 1/2»
мага и волшебника, чудесного Феллини.
Славный Федерико — словно свет весной,
с Джульеттою Мазиною, Музой и женой.
Вот они. Возникли — сами по себе.
Играет на волшебной серебряной трубе
великая актриса. Великий режиссер,
молча постигая сказочный простор
измерений новых, смотрит на меня
пристально, сквозь время, полное огня.
Память, оживая, свечи мне зажгла.
Вдосталь этой ночью света и тепла,
чтобы не замерзнуть зимнею порой
речи, находящей ритмику и строй,
музыку хранящей в слове золотом,
певчей, настоящей, днесь — и на потом.

Шествием барочным движутся ко мне
все, кто задержались где-то в стороне,
все, кто повстречались в давние года,
чтобы возвратиться нынче навсегда
в книгу, на страницы грусти и любви.
Что за небылицы? С пламенем в крови,
с именем в забвенье, временем во мгле.
Что за откровенья? Здесь ли, на земле,
с мукою вчерашней, там ли, в небесах,
с музыкой всегдашней, с вестью в голосах,
с ясностью во взглядах, с явью или сном,
все, в своих нарядах броских, — об одном:
в гуле карнавальном — сказка и судьба,
в грохоте повальном — звонкая труба,
горлом серебристым певшая о том,
каково артистам в мире непростом,
каково поэтам выживать в ночи.
Потому-то в этом — тайные ключи
от миров, которым по сердцу, пойми,
путь к иным просторам с песней меж людьми.

Уловили теперь-то мысль мою?
Там подобный подход к делу.

А, мол, что здесь мудрить? Будем двигаться, как придется, куда-то вперед, ну а все остальное, конечно же, само собою приложится.

И приложилось ведь, надо же, да еще как приложилось! Сложилось в единое целое. По-своему выжило. Выразилось.

Вот вам и метод. Вернее, сразу целый волшебный веер по наитию, по чутью, лишь в движенье пришедших методов.

Нет и не было ни учебников, ни канонов жестких для речи.

Она сама, без подсказок, верный находит путь.

...Ночь со снегом.

И — век со СМОГОм.

Неужели — судьба?

Ну, с Богом!

Со времени возникновения СМОГа прошло тридцать семь лет — и это сейчас, только сейчас, в январе снежном, в конце января, так вернее, друзья, две тысячи второго года, когда я, выживший, с вами беседую.

Что будет потом — и сколько лет в грядущем пройдет со времени возникновения СМОГа — не знает никто из нас. Поживем — увидим.

Годы идут, и СМОГ существует. Вполне вероятно, что жить он будет — всегда.

Порукой этому — речь.

Огонь, что смогли уберечь.

Судьбы наши. Дороги.

Легенды и мифы — о СМОГе.

Вранье. Нелепые слухи.

Брюзжанье тех, кто не в духе.

Восторги всех остальных.

Во пределах разумных — земных.

А может быть — и небесных.

Мгновений тени чудесных.

Видений рои давнишних.

Сомнений клочья излишних.

Радений следы нездешних.

Отзвуки празднеств прежних.

Все в былом, что дорого мне.

Слово. Дело. Свеча в окне.

Давно уже снят запрет и с самого названия, одних когда-то пугавшего, других же — наоборот, притягивавшего к себе, властно, неудержимо, и со ставшей и впрямь легендарной, через несколько десятилетий (слишком яркой и слишком стремительной, слишком бурной, пожалуй, особенно для властей всемогущих советских, для начальства разнообразного, для писателей официальных и для прочей нечисти), праздничной и трагической, вместе с тем фантастической, как мне кажется иногда, в моих зрелых годах, деятельности, странной все-таки, удивительной, не имевшей равной себе или даже слегка похожей, ни в отечестве горемычном, ни тем более за рубежом, знаменитого в прошлом нашего содружества молодых, творческих, смелых, сумевших сказать свое слово в поэзии, в прозе, в музыке, в живописи, искавших и находивших самую суть всего, что мир составляло, прекрасный и действительно сложный, людей.

Больше нет никакого смысла кому-то и дальше замалчивать тот непреложный факт, что и лидеры СМОГа, и некоторые другие участники этого замечательного движения давным-давно состоялись как творческие, подчеркну сознательно, именно так, прежде

всего творческие, то есть творящие, что-то серьезное создающие, трудящиеся, находящиеся годами, десятилетиями в своих непрерывных трудах, работающие, порою на износ, вопреки всему, что мешает этой работе, упрямо, целенаправленно, и прежде, и ныне, всегда.

Не наша вовсе вина в том, что почти на всей поэзии, прозе и прочем, поверьте, внимание стоящем, в жанрах различных, с широким спектром, созданном СМОГом, до сих пор имеется горький, нелепый, ненужный, досадный, изначально коварный, что ли, ощутимый мною до боли, еще не сброшенный временем, ржавый какой-то налет мнимой, обманной, подлой, поощряемой кем-то непризнанности, абсурдной, неведомо кем управляемой, неутвержденности, не знаю, как и сказать подходчивее об этом, отсюда и все эмоции, неразрешенности, видимо, долгой незаконности, в пресловутом литературном процессе, прежде всего, и в сознании тех, кто в этом процессе вроде участвуют, хотя, скорее всего, им это просто кажется, потому что все наилучшее, в литературе, в искусстве, создают искони одиночки, и даже в СМОГе мы были, несмотря на содружество прочное и на общность каких-то взглядов, интересов, ну и так далее, всего ведь не перечислишь, слишком разными, то есть были и тогда самими собой, но, впрочем, зачем пытаться разъяснять, если в этом когда-нибудь разберутся еще, без меня, те, кому, по роду занятий, положено, я надеюсь, хоть в чем-нибудь разобраться, хоть что-нибудь наконец в минувшей эпохе понять, — нас всеми возможными средствами старались тогда уничтожить, а позже, когда это все-таки полностью не удалось, всячески ущемлять, представлять в искажающем истинный облик явления свете, закрывать дорогу к изданиям, и по привычной, удобной для многих функционеров, закосневшей в своих проявлениях и всяческих модификациях, инерции, сообщая, делать вид, умело и ловко, что нас как будто и нет, ну кто мы для них такие, ведь у них есть свои кумиры, не стоящие обычно и ломаного гроша, и свои, заметьте, законные, уж не то, что мы, беззаконные кометы, в кругу расчисленных, по разнарядке, светил, фигуры, которые, вроде бы, по их, псевдоумников, мнению, погоду какую-то делают в таинственной области творчества, подумать ведь только, погоду, в творчестве, но не мы, да и мало ли что когда-то, в незапамятные времена, городила или творила неумная молодежь.

Так, должен я вам, друзья мои, прежние, и теперешние, и, вполне вероятно, грядущие, открыто и прямо сказать, не считают наши читатели и сторонники, ни в родном отечестве, ни в зарубежье, многочисленные, замечу, те современники наши, с независимостью закаленной суждений, мнений и выводов, с собственным взглядом на мир, кому дорога настоящая творческая свобода, живое дорогое слово — эти вечные и всегда озаренные новизною понятия, сопряженные с человеческим поведением, с действиями серьезными.

Сейчас, в наше время, судя по всему, настала пора оглянуться назад, в былое, поневоле взгрустнуть и вспомнить дорогие сердцу, встающие в отдалении, светлые образы и чередой непрерывно шедшие, поражающие воображение жителей столицы, слишком уж бурные для них, ко всему привычных, вроде бы, небывалые, удивительные события, пристальнее взглядеться в навсегда, полагаю, близкую, для всех нас, без исключения, хорошо различимую даль крылатых шестидесятых и с неминуемым вздохом вовсе не облегчения, но неубитой, по-рыцарски оберегаемой нами надежды на справедливость и пускай запоздалое даже, но все-таки понимание тех, кто знают о нас, по-разному, большей частью так, понаслышке, и, намного реже, побольше, и на том спасибо, поскольку это лучше, чем просто забвение, но забвения быть не может ни-

когда, потому что смогли мы когда-то прорваться в грядущее, каждый, впрочем, по-своему, то-то каждый ждет понимания, то-то же вместе мы понимания ждем, не напрасно пора пришла подвести большей частью печальные и трагические итоги, объяснить, что же это такое — подвергшийся в годы бесчасья, в эпоху тупую брежневскую застоя так называемого беспощадному, в пух и прах, чтоб следа не осталось, разгрому, изощенной, жестокой травле, гонениям продолжительным, но тем не менее чудом, отчасти, а больше, как я понимаю, из упрямства, тогда молодого, из гордости не стареющей, из веры в призвание каждого, в светлое предназначение общего нашего дела, выживший, утвердившийся, что важно весьма, в сознании нескольких поколений, ставшей неоспоримой давно, неотъемлемой частью русского авангарда, героический, дерзкий, неистовый, вдохновенный, таинственный СМОГ.

Все вы помните, что расшифровка названия очень проста: Смелость, Мысль, Образ, Глубина.

Все вы знаете, что, вместе с этим, прижилось еще и другое толкование непривычной, броской, краткой аббревиатуры: Самое Молодое Общество Гениев, предложенное Губановым наобум, на предмет эпатажа, и сразу же почему-то пришедшее по душе передовой молодежи середины шестидесятых — неугомонным российским слушателям и читателям всюду звучавших стихов, завсегда ям поэтических многочисленных вечеров, запоминавшим тексты с голоса и переписывавшим затем их в свои тетрадки (что, если припомнить суждение Максимилиана Волошина, само по себе у нас почетно уже для поэта), привыкшим читать внимательно и сознательно распространять и новинки, журнальные, книжные, и все, что не издавалось, но было для всех в стране как воздух необходимо, в машинописях самиздатовских, — филологам, искусствоведам, историкам, журналистам, актерам, физикам, химикам, биологам, математикам и так далее, список велик, — всему пытливому, пылкому, ищущему, серьезному, с требованиями строгими, всегда, к себе и другим, отстаивавшему свои взгляды и убеждения решительно и отважно, московскому, с вольнолюбивыми традициями, студенчеству, художественной богеме, жителям самых разных городов бывшего Союза, говоря значительно проще — тем, чьи души искренне жаждали подлинной новизны в современной литературе и в современном искусстве, тем, кто в эпоху былую уповали еще на обещанные нам, уже не единожды, изменения коренные в жизни общества, тем, кто старались, и пристрастно, и объективно, осмыслить весь ужас минувших, столь тяжких, сталинских лет, и не ведали, что предстоит всем нам вскорости пережить.

Те, кому ныне уже за пятьдесят, и все ближе к шестидесяти, и ровно шестьдесят, и за шестьдесят, представители поколения нашего, да и люди других возрастов, и старше, и несколько младше нас, хорошо, полагаю, помнят действительно небывалые по дерзости и размаху вечера поэзии, с выставками живописи авангардной, устроенные смогистами, чтения на Маяковке, отчаянно-обреченные шествия и демонстрации, милицейские, плотными стенами, начеку, наготове, кордоны, шеренги стоявших поблизости «воронков», лихих усмирителей — общественников, дружинников, срываемые блюстителями порядка наши афиши, нешуточный, было дело, испуг, панический страх прежде грозной администрации центрального дома советских литераторов (слишком привыкшей проявлять свой, по выражению Достоевского, в «Бесах», романе провидческий, для России, «административный восторг», а тут, поди же ты, надо же, несколько подрастерявшейся и при слухе «Смогисты идут!» делавшей, в силу спасительной стадности, коллективную стойку на страже писательских незыблемых интересов, а также и репутации ЦДЛ, каковой мы обычно, да и не только мы, а многие люди в столице называли, кривясь и морщась, преимущественно «гадючником»), а заодно, из понят-

ной солидарности, администрации клубов, домов культуры, библиотек и вузов, заметную незаметность везде, где только возможно, вовремя проявлявших сереньких граждан в штатском, добровольных телохранителей наших, из тех любителей поэзии, что покрепче, защищавших нас в ситуациях крайне сложных, взрывоопасных, записи наших стихов на входившие в обиход магнитофонные пленки, узнавание наших, своих, настоящих единомышленников, немедленно, с полувзгляда, понимание с полуслова, пыл, всеобщий ажиотаж, нервы, шок, отвагу, триумф, широчайший, сплошное эхо самых свежих вестей, резонанс, напряженнейшее внимание, и в родных пределах, и в западных, с их свободой и гласностью, странах, к событиям, о которых говорили в ту пору все, помнят дух, окрыленность, радостный, всеохватный огонь общения, многогранность и щедрость открытий, ощущение свежей, бунтарской, наконец-то нашедшей выход, молодой, возрастающей силы, сплоченности этой новой, не случайно возникшей волны отечественного, родного, по всем статьям, авангарда.

Никем из тех, кто когда-то были, одни — очевидцами, другие — прямыми участниками этого самозабвенного, жертвенного порыва на самой заре безвременья, не забыты еще и последствия — по команде, незамедлительные, жестокие, грубые действия, сознательно сконцентрированные, четко, умело рассчитанные, се отработанными виртуозно, за десятилетия сталинщины и хрущевских времен, приемами, намеренно погубившие прекрасное начинание, вернее, острейшим образом всем нам необходимое в те годы объединение творческой молодежи, под знаменем вольнолюбивого, в основе своей правдивого, не из блажи ведь чьей-то негаданной, не из прихоти чьей-то неведомой, но, возможно, свыше отмеченной многообразием редкостным расцветающих дарований, не забыты никем предпринятые, для скорейшего удушения творческого горения, казенные, злостные меры, результат которых известен хорошо и давно: трагические, изломанные, искаленные судьбы всех, самых талантливых, основных участников СМОГа.

В ход было пущено все, ведь арсенал имеющихся в наличии «средств воздействия» на умы и души сограждан содержался, на всякий случай, много лет, в образцовом порядке, — и кошмарное колесо кафкианского толка немедленно завертелось в нужном властям направлении, деловито, достаточно быстро, заранее, как положено, то есть обильно смазанное машинным маслом бюрократизма, доносительства, карьеризма, выслуживания, угодничества, проработок, слежки, угроз, по команде сверху задействованной, тут же, одновременно, целой армии служб, инстанций, от низовых до высших, аппарата сытых чиновников, литературных монстров, прихлебателей журналистских, исполнителей, подпевал, всемогущих тогда, бесчисленных и страшных организаций, — и вся эта грандиозная система, фантазмагорическая, да и только, иначе не скажешь, заработала безотказно: изгнание с шумом из вузов, показательные расправы по комсомольской линии, собрания с разбирательством состряпанных наскоро «дел», высылки «за тунеядство», что широко, масштабно раньше практиковалось, без учета немалой работы литератора или художника, милицейское наблюдение днем и ночью, запрет на издания, мгновенно организованная, продуманная кампания в печати периодической, физическое «вразумление» строптивых и непокорных, бесчисленное количество искажавших решительно все, намеренно запускаемых в народ, нелепейших сплетен, слухов и разговорцев «со значением», втихаря, закрытие выставок живописи, трактовка смогистского творчества как, представьте, «идеологической диверсии», ну и ну, допросы, шантаж, запугивание, попрание прав гражданских, унижение человеческого достоинства, провокации, воздвижение всевозможных заслонов и стен, да и многое другое, чего, дабы сызнова, как-то выжив, не растравлять до сих пор не зажившие

раны, не хочется ворошить, хотя, подчеркну, свой счет губителям нашим, гонителям, изуверам различных мастей, мы, выжившие, уцелевшие чудом, выдавшие виды, друзей своих провожавшие и в последний путь, и на запад, в эмиграцию, в ссылках и в тюрьмах их поддерживавшие годами, выручавшие их, отравленных всякой дрянью, из психбольниц, поневоле узнавшие в жизни такое, чего и врагу сроду не пожелаешь, предъ- явить, безусловно, можем.

(...Ну прямо статья получается?..)

Скажу-ка я лучше — по-своему.

В своем, разумеется, духе.

Продолжу свой разговор.

С читателем книга встречается.

Свободно она построена.

Присутствует — в зренье и слухе.

И — птичий с ней дружен хор.

Своим желанным рождением и дальнейшей невиданной действенностью СМОГ целиком обязан нам двоим — Леониду Губанову, другу молодости моей, фантастической, так, наверное, показаться кому-то может, а на деле, скорее, горькой, хоть и светлой на удивление, непростой, нет, конечно же, сложной, так правдивей и так вернее, откровеннее и честнее, всем известной в богеме столичной, тем, кто жив, и кого уж нет, выходящей теперь на свет и, бесспорно, фантазмагоричной, понимаемой не вполне теми, кто не бывали с нами в те года, где свободы знамя поднималось во мгле, — и мне.

Моей была — с памятной всем нам осени шестьдесят четвертого поступательно втолковываемая, словно школьнику отстающему необходимый урок, ему, с его самомнением, гонором и характером не из лучших, если не хлеще, но зато и с талантом огромным, за который ему прощалось очень многое, чуть ли не все вообще, все выходы дикие, нрав крутой, алкогольные подвиги, сумасшедшинка небезопасная даже в кротких его словах или взглядах лучистых, серых, с бирюзовою поволокой, напряженно и цепко глядящих на людей, магических глаз, — идея объединения молодых, и в Москве, и в провинции, по всему отечеству нашему, талантливых творческих сил.

То есть — тот, камертонный, знаковый, самый важный, определяющий чистый звук, за собой ведущий все звучание, общий строй возникающей вслед за ним, с новизною своею, музыки, драгоценный, первоначальный импульс, тут же, мгновенно, дающий свет и кровь идее рожденной, с которого все, как водится, обычно и начинается, чтобы жить, исходил от меня.

Губанов был чрезвычайно, болезненно восприимчив.

И нередко чью-нибудь мысль, или фразу, или удачную, позабористей, поострее, с парадоксами, с юморком, непременно соленым, тираду, или шутку, порой грубоватую, он, сразу же переосмыслив и твердо усвоив ее, простодушно считал своей собственной, принадлежащей, надолго, лучше бы навсегда, отныне только ему.

Ладно, чего уж там!

Не считаться ведь нам — через годы.

Зато у него есть немало своих безусловных заслуг.

И в первую очередь — вот что выделить надо — с названием, с именем, емким, точным, содружества давнего нашего.

Что сразу дало развитие идее светлой моей.

Для него же, буяна, былинного Соловья-разбойника, может быть, ну а может, Аники-воина, или кто его знает, всякое ведь бывает у нас, натурального, без булды, как сказал бы сам Ленечка, ухмыльнувшись, богатыря, стало делом жизни. Главнейшим.

Лебединой песней — на годы.

От начала — и до конца.

Он жил ею. Сросся с нею.

Идея стала — реальностью.

Но — чьею? Моей? Отчасти.

Губановской — целиком.

Эта идея моя, подкрепленная предыдущим, уже накопленным в юности, криворожским, с горчинкой, опытом, совпала с давнишней, упрямо вынашиваемой, губановской мечтой о каком-то впрямь великолепном содружестве творческих сплошь людей, чуть ли не братстве, во всяком случае — славной компании, где все, без разбора, оптом, были бы в доску своими и все что-нибудь хорошее, интересное, да создавали бы, словом, что-то творили, — стихи ли писали, прозу ли, рисовали или еще что-нибудь, — неважно, что именно, делали, были бы только все други — людьми искусства, были бы только — все вместе, а все остальное — потом, с этим еще разберемся.

Об этом я говорил, вкратце, несколько ранее, но это, думаю, надо еще разок подчеркнуть.

Ведь получилось так, будто сомкнулись разом, соединились два оголенных, жгутих конца электрического, витого, провода, и прошел по ним трескучий разряд, прошел, заструился — ток.

Ну а ежели есть в сети ток, то, стало быть, зажигается там, где ждут его, разгорается, чтобы тьму разогнать, и свет.

Стоит сказать об осени шестьдесят четвертого. То есть — осени всех начинаний и надежд на все, что свершиться непременно должно, возможно, и не сразу, пусть постепенно, как уж выйдет, потом, в грядущем, том, в котором нам жить да жить, как наивно и окрыленно представляли мы, понимая далеко не все, но стараясь, в меру сил своих, прозревать в яви, несколько романтичной, знаки горести непривычной, звуки музыки горемычной приучаясь вдруг различать.

Стоит, право, сказать об осени — той, в которой уже содержалось все, что позже, неслыханно скоро, получило, как только в сказках, с волшебством их и чудесами, полагаю теперь, и бывает, но и в жизни порой случается, в чем давно уж я убедился, на своем, не на чьем-нибудь, незаемном, немалом опыте, на своем, тернистом пути, продолжение и развитие.

Стоит сказать об осени откровений и озарений.

Пусть и вкратце. Под настроение.

С ностальгией, вполне для меня, поседевшего, разумеемой.

С грустью, слишком понятной нынче.

Это грусть по радости, бывшей очевидной такой когда-то, что никак невозможно хотя бы на минуту какую-нибудь, или так сегодня скажу я, на ничтожную долю секунды, минимальную кроху мгновенья, попытаться забыть ее, —

нет, вовсе не для того была она мне дарована, вовсе не для того переполняла меня, чтобы в мыслях моих, порою смутных, или сумбурных, или ясных, любых, могло подобное промелькнуть, —

какое там! — наоборот, с каждым годом все приближается ко мне эта дальняя осень, все отчетливей укрупняются дорогие черты ее, чародейским алмазом оттачиваются все, даже самые малые, детали ее и грани, —

и она подходит вплотную, приближает лицо свое, чистое, молодое, белое, свежее, золотым озаренное светом, и взгляд ее ясный встречается с усталым взглядом моим, и силы в душу вливает, и легче тогда мне дышать,

и слышу я голос ее, молодой и прекрасный, и зов ее, неустанный, негромкий, но властный, в ночи различаю вновь, и рвусь к ней — сквозь время с пространством, сквозь век, с его самозванством, сквозь боль, с ее постоянством, сквозь жизнь и сквозь речь свою, —

и я возвращаюсь к ней, возвращаюсь я, — ко всему несбывшемуся и сбывшемуся, с утратами не смирившимся, с прозрениями сдружившемуся, к началу самому чаяний, к истоку прозрачному веры, к далекой заре любви,

ко всему, что было моим, и доселе, свидетелем Бог в небесах, никуда не ушло, никому в минувшем не отдано, никогда в скитаньях не предано, что сберег я свято в душе, что пронес через годы трудные, под звездой высокой моей,

что со мною осталось, да так, что давно уже, так получилось по судьбе, стало мною самим, стало всем, что меня составляет, что возможность дышать оставляет, естеством, волшебством, одиночеством, ясновидчеством, празднеством, творчеством, всем с людьми и с природой родством,

всем, чем жив я, чем я мире поддержан, что само без меня не может, как и я не могу без него, что сумело меня спасти, как и я его спас от забвенья, взяв из памяти нити и звенья, — пенье, счастье, страданье, горенье, — навсегда, — обретенье пути.

Когда ты еще так молод и рад, что живешь в Москве, о которой мечтал так исто-во там, у себя, в провинции, а теперь ты житель столицы, студент университета, и, несмотря на учебу, ты совершенно свободен, сам предоставлен себе, независим, насколько возможно,

волен сам, без чьих-то подсказок, распоряжаться временем, не чьим-нибудь, а своим, собственным, личным, точным, вполне возможно, бессрочным, да еще и пишешь стихи, больше того, твердо знаешь, что ты поэт, и тебя уже знают здесь именно как поэта, —

жизнь таинственным свитком, охотно, как будто играючи, быстро, легко, разворачивает именно перед тобою, пришельцем издалика, неофитом, гостем восторженным, самые невероятные возможности, и остается лишь выбирать из них наиболее интересные,

и ты, человек по натуре домашний, довольно замкнутый, с детства сосредоточенный на думках вечных своих, жить начинаешь вдруг в совершенно ином ритме, а может, в другом измерении, сам толком не понимая, что с тобой происходит, почему же так получается,

ты превращаешься, надо же, ну и ну, в человека богемного, и знакомства твои все больше не светские, а богемные, ты почти в Париже, не так ли, карнавалы, пирушки, миракли, довольно воображения, ты вольная птица, ты вправе, стремясь к победе и славе, сам принимать решения,

ты дышишь свободой, при всей несвободе советской, которую ты, как и дружеский круг твой, да и все вокруг, не желаешь принять во внимание, так она для тебя несущественна, благо младость всегда естественна, да и радость, возможно, вещественна, то-то смотрит на мир торжественно и гуляет честная компания,

ты всегда устремлен в грядущее, новизны и отваги ждущее от людей, далеко ведущее, чтоб воочию видеть сущее там, где примут и где согреют, и в пути своем ты

намаешься, но идешь и ввысь поднимаешься, чтоб в годах, где казнят, не жалуя, слышать музыку небывалую — в ней, и только, речь твоя зреет.

А Москва хороша! Сентябрь, и небо то ласково-синее, то лиловое, то седое, смутно-мглистое, с ветерком, и листва желтеет, алеет, и срывается вдруг с ветвей, и летит, кружась над землей, вдаль куда-то, сквозь время, в пространство, и город — кругами, кольцами, звеньями, клиньями, сферами, светлый, просторный, новый в древности, в тайне своей, и все это — для тебя, и ты для этого — здесь, чтобы помнить об этом повсюду, где бы ни был в грядущем ты, и вьются в воздухе звонком тончайшие нити духовные, и вселенские связи незримые, столь щедро сущим даримые, ощущаются, в общем единстве, в цельности восприятий, наитий и вероятий, в достоверности бытия.

Жил я тогда, в период молодости крылатой, на милой мне Автозаводской, весьма из себя оживленной, достаточно многолюдной в определенные, утренние и вечерние, с их толкотней, ненавязчивой и привычной почему-то, часы дня, как-то в меру, без перебора, заполненной легковушками, автобусами, троллейбусами, фырчащими грузовиками, кое в чем типично столичной, но, впрочем, и это существенно, порядком-таки отдаленной от форсистого, яркого центра, не подчеркнуто вовсе окраинной, нет, конечно, это не так, но уж точно, так выходило, так мне виделось, так получалось, несколько провинциальной, благодаря своим на удивление тихим, не по-московски просторным, с закоулками, с заковырками, с подворотнями и деревьями, разросшимися широко и свободно, как на приволье, миролюбивым, спокойным, добродушным, уютным дворам, ну а также, казалось мне, по причине присутствия сквера, пусть и узкого, но зато растянувшегося во всю свою, не измеренную никем из приезжих и горожан, удивительную, наподобие долговязой косы приморской, с неизменным шелестом лиственным вдоль ограды сквозной, длину, островную, с пространством, выделенным для прогулок и медитаций, посреди двух дорог, ведущих в неизвестность сплошную, улице, всего-то, представьте, в нескольких, пустыковых, коротких минутах неторопливой ходьбы от одноименной станции спасительного метро, в непосредственной, ближе некуда, близости от знаменитого когда-то гиганта отечественного автомобилестроения, завода серьезного — ЗИЛ.

Возможность пожить в пустующей годами целыми комнатами небольшой, обжитой, с минимальным соседней числом, коммуналки предоставили мне знакомые. Месяца три-четыре, а может быть, и подольше мог я здесь обитать.

Потом придется, наверное, смиренно мне перебраться в общежитие МГУ, но ведь это будет — потом.

А сейчас я себя ощущал хозяином положения.

Было, было ведь у меня московское, вот что здорово, не какое-нибудь, на птичьих, никудышных правах, шаг туда, шаг сюда, не шуметь, не мешать, не сорить, не ходить, не звонить, нет, хорошее, полноценное, замечательное жилье.

Пусть и временное, да зато, согласитесь, почти свое.

Восемнадцать всего-то лет, восемнадцать, уже так много, мне казалось, целая груда привезенных с собою стихов, стопка книг, любимых настолько, что расстаться, хотя бы на время, ни за что бы я с ними не смог, и возил их повсюду с собою, и привез их сюда, в Москву, что, представ предо мной наяву, приняла меня и приютила, словно так вот и надо было, словно так вот и полагалось, чтобы все к ней само прилагалось, одежда — какая была, стол, и на нем приемник, из которого тихо лилась, растворяясь в пространстве, музыка, огромное, старомодное, многостворчатое окно, из которого

плавно струился прямо в комнату, заполняя всю ее, целиком, широкий, пульсирующий, осенний, предвестьем всех воскресений и всех грядущих спасений мерещившийся недаром, божественно ясный свет, — какое счастье, какое блаженство, и все под рукою, присутствие воли, покоя, и равного этому нет!

Вставало солнце, и я просыпался, тут же вставал, шурясь от ярких, радостных, бивших в окно лучей, умывался, заваривал чай, пил его за своим столом, поставив чайник и чашку посреди разбросанных рукописей, включал по привычке приемник, слушал мажорные, звонкие, с огоньком, с неизменным задором, утренние мелодии, потом собирался неспешно, выходил вразвалочку из дому, ехал в университет, в старое, милое здание на Моховой, на занятия или же, пропуская их, отправлялся бродить по Москве, и так вот изо дня в день, всегда и везде на подъеме, с оптимизмом, вовсе тогда, в годы прежние, не удивительным, с хорошим, всегда, настроением, с постоянным, на редкость острым, замечательным ощущением вхождения, даже вrastания в неизменную новизну постигаемой мною ныне, лишь меня одного дождавшейся и дождавшейся наконец, состоявшей, это я знал, со всеми своими градациями и бесчисленными подробностями, из безграничного слова: быть! — созидательной, творческой яви.

Я возвращался домой, переполненный впечатлениями.

Я писал стихи. Разумеется. Как же было их не писать!

Сохранились не все они. Так уж вышло. Так получилось.

Изрядную часть, в сердцах, в состоянии мрачном, тяжелом, в наваждении, что ли, нахлынувшем, я однажды вдруг уничтожил.

(Многое, слишком уж многое, потом уже, позже, в период нашумевшего нашего СМОГа, в начале гонений, в апреле, тоже я уничтожил, сознательно, собственноручно.

С воспаленною головой. Почти обреченный. Измученный бессонницами, безнадежностью положения своего, подвешенностью состояния — между славой тогдашней и явным крушением всех надежд молодых. Возможной тюрьмой.

Уничтожил. Битком набитый моими стихами ранними да еще и прозой тогдашней, вместительный саквояж

Зачем? Не знаю — зачем. Отчаяние охватило.

Находились приятели рядом. Ну и что? Молчали. Смотрели.

Никто из них, очевидцев, не удержал меня.

И жгучее, самое первое, ранящее сомнение в истинности отношений, которые, по наивности всегдашней, считал я дружбами, шевельнулось тогда во мне.)

Но все это было еще впереди, в отдаленье неясном, и казалось оно мне прекрасным, — и об этом пока что, конечно, вдохновенный, подвижный, беспечный, молодой, ничего я не ведал. Тогда, удивительной осенью шестьдесят четвертого, жил я Москвой, поразившей меня красотой своей, жил стихами.

Некоторые из них уцелели, даже частично вошли в мои ранние книги.

Звук их, протяжный, чистый, живой, возникал то и дело, приходили новые строки, свободно, сами собою.

Я порою записывал их.

Иногда, поначалу, так, вдруг, зачем-то, по странной потребности, по причине какой-то загадочной, чтобы выплеснуть некие образы на бумагу, от случая к случаю, как-то исподволь, под настроение, но потом все чаще и чаще, увлеченно, всерьез, рисовал.

Очень много, нередко запоем, одержимо, пожалуй, читал.

Покупал, бывало, настроившись на волну благодушную некую, в нашем скромном, с виду окраинном, небольшом, но зато под боком находившемся гастрономе бутыл-

ку, зеленую, длинную, российского полусладкого, недорогого, приятного, легонького вина, граммов двести, не больше, грудинки, в соседней уютной булочной — белый хлеб за двадцать копеек, большой батон, аппетитный, с подрумяненной корочкой, свежий и пахучий, быстро вбегал по ступеням широким лестничным к себе на этаж, заходил в квартиру, потом в свою комнату, за столом поудобней устраивался, в одиночестве пировал.

По ночам в соседнюю булочную, нашу булочную, привозили горячий, только что выпеченный в районной хлебопекарне, с пылу с жару, свежайший хлеб, и когда я домой возвращался поздно, за полночь, то всегда покупал его здесь и ел, с удовольствием неизменным и доселе мне памятным, прямо на ходу, во дворе, на лестнице, на пороге спящей квартиры.

Некоторые, не все, разумеется, только считанные, обитатели ближних домов, и особенно пенсионеры, старики и старушки с авоськами, приготовленными заранее, специально сюда приходили ночью, чтобы купить этот хлеб.

Он был вкусен, и черный, и белый, любой, всенародный хлеб, вкусны были и горячие, румяные, пухлые булочки.

Во дворе, вплотную почти к распахнутой двери булочной, возле черного хода, хозяйственного, подъехав умело так, что ни дальше, ни ближе нельзя приблизиться, тихо стояла грузовая машина-фургон с привезенными для продажи ранней, утренней, бойкой свежими, нарасхват обычно идущими, для людей важными, хлебными, то есть главными впрямь изделиями.

Ее разгружали хмурые, молчаливые, сильные грузчики.

Сноровистыми, отработанными движениями они вытаскивали деревянные поддоны со свежим хлебом и до невозможности просто аппетитными, нежными булочками, от которых облаком белым поднимался горячий пар, и, один за другим, привычно для себя, как-то слишком быстро, взад-вперед косолапо шагая, относили их в магазин.

Вокруг машины кольцом толпились пенсионеры.

Выходила весьма упитанная, закутанная платком приемщица свежего хлеба, продавала его старикам.

Никому никогда, ни разу, сколько помню я, не отказывала.

Старики, получившие хлеб, загружали его в авоськи, чтоб сподручней было нести, но потом, удержаться не в силах от соблазна, по-детски просто, по чуть-чуть, ну в точности так же, как и я, горбушку надламывали, надкусывали с удовольствием хлеб, хрустящий, свежайший, прямо на ходу, потому что стерпеть, не попробовав хоть кусочек, невозможно было, и, шаркая негнушимися ногами по выщербленному асфальту, с довольным, веселым видом, по своим расходились домам.

Здесь же, на запах дразнящий вкусного свежего хлеба, собирались еще и собаки. Они виляли хвостами и смотрели людям в глаза. Все охотно их угощали.

В черноте прохладной, осенней, государственной, общей для всех, участливой, миролюбивой, даже вроде бы гостеприимной, по-своему, разумеется, по-хорошему доброй ночи москвичи жили хлебом единым, да и не только им.

Где-нибудь, неведомо где, все едино, и все в разброде, все и в сердце, брат, и в природе, все кругами пойдет по воде, то и дело да раздавался то возглас, то смех, то плач, то шальной, хмельной, забубенный, подгулявший обрывок музыки вылетал из окошка, распахнутого по традиции в никуда, благо дальше некуда просто вырываться изгородов, то сирена вдруг милицейская, поперхнувшись, истошно выла, то — да мало ли что еще где-то рядом происходило.

Но, в общем-то, вся, как есть, без прикрас и соплей, обстановка была достаточно тихой, вполне, полагаю, мирной, не опасной отнюдь, и вовсе не почти фронтовой, с горячими точками пресловутыми на любом шагу, как сейчас.

Машина-фургон, хлебовозка, разболтанная, скрипучая, пропитанная насквозь ароматным, устойчивым запахом различных изделий хлебных, разгружалась и уезжала.

Двор постепенно, как водится, необратимо пустел.

Дома, в уютной комнате, за столом с моими бумагами, с ветерком законным, я ел свежий хлеб, запивая его терпким холодным чаем.

И вполне был доволен и счастлив.

А когда покупал вино и, глоток за глотком, в тепле коммунальной уютной комнаты, пусть и временного пристанища, ненадолго, да моего, не какого-нибудь, столичного, по московским понятиям отличного, для меня-то, для одного, неторопливо пил его за своим столом, у окна, тогда, с умилением, накрепко со вздохом невольным, по радости ли, по молодости ли, связанным, вспоминая, отшельник нынешний, набродившийся в годы прежние вдосталь, видимо, скиф седой, почему-то и состояние мыслей, сердца, души, всего естества моего тогдашнего, у меня бывало особенным.

Вино, пускай и хорошее, по тем временам, не халтурное, не убойное, как позднее, посреди всеобщего пьянства на просторах родной державы, небольшой, в меру самую, крепости, все-таки, незаметно, давало себя знать.

Приятнейшее тепло разливалось неожиданно по жилам.

Я чувствовал с изумлением, забавным теперь, что хмелею.

Включал приемник, среди множества голосов, звучавших в эфире, шумов, трескотни цикадной, разноязычных слов, новостей, обрывков мелодий, сообщений о достижениях на пути в наше светлое завтра, призывов, докладов, лозунгов, директив, обличений, песен о рабочих и космонавтах, находил хорошую музыку, с настроением, слушал ее.

Вечерело, и широченное, в красных пятнах закатных, тускнеющих, исчезающих разом, окно постепенно синело, чернело. На стекло налипали желтые, сорванные с деревьев окрестных, влажные листья, брошенные на него с размаху резким, как окрик, холодным порывом ветра.

Начинался вечерний дождь.

Поначалу он просто накрапывал.

Но вскоре уже упругистые, тугие струи его, словно длинные стебли, срезанные под корень лезвием ветра, за окном проносились моим вкось куда-то — и падали наземь.

На оконном стекле, рядом с ярким отражением лампы настольной, всей комнатной обстановки, стола, моего лица, сгущались крупные капли, превращались в бойкие струйки, в ручейки, полноводные, бурные, непрерывно стекали вниз.

Музыка законного дождя разрасталась и смешивалась с музыкой для настроения, раздающейся из приемника.

Стекло между тем туманно, плотно запотевало, и отражения в нем теряли четкость былую, становились размытыми, смутными, двоились, медленно таяли.

Меня клонило ко сну.

Я засыпал под шум дождя, идущего ночью, чтобы проснуться утром грядущим привычно рано, совершенно бодрым, здоровым, — и новый день начинался, и все у меня начиналось, как и прежде, празднично, сызнава, хоть всякий раз и по-разному, и я был готов неизменно к продолжению новизны осенней, и осень все длилась, не спешила меня покидать, и верность ее всегдашняя всему, что в душе хранил я, была для меня дорога.

Лирика, скажете вы.
Лирика, так вы решите.
Да, лирика. Та, в которой уже назревал и эпос.

Тема и вариации.
Голос и свет. Из прошлого.
Память. Отзвуки праздников.
Музыка сентября.

Жизнь моя, поначалу размеренная, но потом, уже вскоре, поскольку иначе не получалось в столичных ритмах, порывистая, стремительно становилась чрезмерно бурной, насыщенной всевозможными, большей частью интересными для меня, иногда и действительно важными, для сердца и для души, для творчества моего, в условиях новых, событиями.

Собственно, все абсолютно вокруг меня было событием.

Воспринималось мною в ту пору — именно так.

Встречи ли это были, знакомства ли, приключения ли какие-нибудь, путешествия — все принималось мною близко к сердцу, так выходило, заставляло над этим задумываться, запоминалось надолго, может быть — навсегда.

В самом конце нагрянувших с новшествами своими, «судьбоносных», как говорилось в то время, восьмидесятых Саша Величанский написал:

«В 1964 году на исторический факультет МГУ был принят никому не известный абитуриент по имени Владимир Алейников. Через год его знала вся „литературная“ Москва в качестве одного из ведущих поэтов литературного направления СМОГ».

Это вроде и так, но все-таки, всем скажу, не совсем верно.

В шестьдесят четвертом году я как раз был уже известен в Москве, пусть и «литературной», но и это уже, согласитесь и поймите меня, господа и дамы, было немало, и эту известность, реальную, следовало заслужить.

Не так-то просто она, между прочим, к другим приходила.

Но ко мне такая известность пришла почему-то сама.

Причем, если точным быть, пришла она годом ранее, осенью шестьдесят третьего, в чудную пору, когда я впервые долго жил в столице и познакомился с людьми хорошими, ставшими, на все времена грядущие, моими друзьями, приятелями и просто знакомыми добрыми.

Среди них это в первую очередь Дима Борисов, Володя Брагинский, Аркадий Пахомов, Коля Мишин, Саша Морозов, Зина Новлянская, Слава Самошкин, Юра Кашкаров и прочие москвичи, все — участники многим памятного литобъединения, названного, в романтическом духе, в тон поветриям шестидесятых, «Бригантина», существовавшего, процветавшего на филфаке МГУ, поначалу, потом, без всякой официальной чуждой всем нам, — просто друзья, круг, достаточно тесный, с осени шестьдесят четвертого ставший, постепенно, закономерно, так уж вышло, все разрастаться.

Были они людьми образованными, в разной мере, больше, меньше ли, но способными, для меня — всегда интересными.

Они, столичные жители, «золотая» сплошь молодежь, со своими свободными нравами, со своими на редкость широкими замашками, так естественно сочетающимися с трезвейшим, без восторженности малейшей, без наивности невразумительной, жестким, цепким взглядом на жизнь, на историю, на политику, на действительность, на искусство, на любовь, на веру, на дружбу, меня, человека приезжего, провинциала, приняли — сразу же, безоговорочно, приняли — навсегда.

Оценили, признали своим.

Вот отсюда все и началось.

Так что в том сентябре незабвенном, о котором я говорю, череда знакомств моих только стремительно увеличивалась.

Тьма-тьмушая как на дрожжах расплывшихся в одночасье литобъединений московских, на которые аккуратно приходили, как на работу, что-то пишущие москвичи, процветала тогда — и все они зазывали меня к себе.

Здесь уместно будет заметить, да к тому же это еще и занятно, и показательно, в чем пришлось убедиться мне, вот что.

Когда я, в кои-то веки, минувшей зимой, в декабре, наконец-то выбрался на люди, в литературный клуб, находящийся в помещении бывшего, разумеется, группкома, так он, представьте, назывался встарь, литераторов, где состоял и я в первой, тяжело-ватой, половине восьмидесятых, в стареньком флигельке, в Георгиевском переулке, поддавшись на уговоры клубного руководства почитать там хотя бы фрагменты неизданных книг моих, и, впервые в жизни моей читая прилюдно прозу, для меня самого еще свежую, а совсем не стихи, пусть и старые, пусть и новые, все равно, что куда для меня привычнее, поведал собравшимся слушателям об Игоре Ворошилове, друге моем покойном, великом русском художнике, и это были куски прозы о Ворошилове, называющейся «Добрый пастырь», — я увидел в зале, с немалым, прямо надо сказать, изумлением, нескольких очень давно, с осеней шестьдесят третьего — шестьдесят четвертого, с тех, ключевых, молодых, камертонных времен, знакомых мне персонажей, посетителей неизменных тех самых, давнишних, бесчисленных, московских литобъединений, кочевников по людским сборищам, по тусовкам, как теперь говорят, по традиции, полагаю, забредших сюда.

Постаревшие, сплошь седые, некоторые и вовсе настоящие старики, они точно так же, как некогда, встарь, в молодые их годы, живо, даже азартно, впитывая в себя каждое слово мое и потом непременно высказывая свое весомое мнение, бывшее, почему-то, всеобщим, сплошным одобрением, реагировали на мое первое клубное чтение.

Вот что значит сила привычки!

Удивительное постоянство!

Что за страсть такая великая неуклонно движет людьми?

Обязательно им, всеядным, всеведущим, надо присутствовать на всяких собраниях, чтениях, чувствовать и свою причастность к тому пресловутому, неведомо кем и когда, в муках, никак не иначе, в бессонные ночи, видать, однажды изобретенному вместо кроссворда или шарады «литературному процессу», подумать ведь только, процессу, ни больше ни меньше, который на деле является результатом трудной работы одиночек, веками, да что там, эпохами, тысячелетиями, одиночек, и только их, как всегда, но никак не толпы.

Выходит, почти сорок лет присутствовали они там, где что-нибудь из написанного кем-нибудь и когда-нибудь, недавно или давно кто знает, стихи ли, прозу ли, читают и обсуждают.

Пишут вроде и сами.

Но куда важнее для них — числиться, состоять, скопом, при литературе, вроде бы тоже участвовать в неудержимом, таинственном, вечном ее движении.

Но это еще не все.

Куда больше меня, столь редко, на протяжении многих, с работой над книгами связанной, чередой прошедших лет, выбирающегося куда-то к людям, любящим общаться меж собою, потолковать, по старинке, о том, о сем, о немногом и обо всем, изумила молва людская, ее глобальные, прямо-таки фантастические возможности.

Уже через день буквально после чтения моего знали о нем все, не только в Москве, но и в Питере, и в провинции знали тоже, и даже в моем родном городе Кривом Роге, на Украине, а чуть позже — и в прочих странах зарубежных, поскольку сведения о моем единственном вечере попали незамедлительно, сразу же, в Интернет.

Мне звонили разные люди — и всех их, ну просто вынь да положь как можно скорее, очень интересовала моя мемуарная проза, и все они в один голос, как будто бы сговорившись, первым делом взволнованно спрашивали: скоро ли, да когда, и где ее издадут?

Вот что такое молва.

Такою же, как сейчас, в дни свободы, а то и похлеще, была она, припоминаю с улыбкой, и в шестидесятых.

Стоило мне появиться где-нибудь, почитать там стихи, как об этом событии сразу же узнавали решительно все.

Отсюда и все растущая, год от года, известность моя.

Так что, любезный читатель, Величанский, выходит, ошибся.

Не в смогистские времена пришла она, эта известность, но раньше, значительно раньше.

Говорю я теперь об этом совершенно спокойно, без всякой гордости за былые достижения и удачи.

И не такое бывало.

Просто — в зрелых своих летах, по возможности, восстанавливаю историческую справедливость.

Это как раз Величанский был еще неизвестен, когда мы, той же осенью шестидесят четвертого, с ним познакомились и вскорости подружились.

И это именно я охотно знакомил Сашу со своими друзьями тогдашними, с людьми своего круга, то есть, как и всегда у меня, сплошь и рядом, это бывает, из приязни к нему, да еще и по доброте душевной, способствовал всячески, рьяно, сознательно, целенаправленно, росту его известности в Москве и не только в ней.

Относится это, кстати, замечу, не только к Саше.

Творчество многих знакомых в самиздатовскую эпоху пропагандировал я настойчиво и упрямо, самолично перепечатывал на машинке пишущей, в нескольких экземплярах, само собою, и передавал их тексты, стихи, переводы, прозу, своим друзьям, и в столице, и в провинции, разумеется, чтобы и там их узнали.

Известность в Москве в то время была у меня уже прочной.

Я вхож был в литературные дома и салоны различные, в том числе и такие, куда людям с улицы ходу не было.

Со мною стремились — как странно вспоминать о таком — познакомиться.

Искали — сами, без всякого принуждения — дружбы моей.

Конечно, это приятно. Тем более в пору, когда тебе всего восемнадцать лет.

Мне прочили, с основаниями серьезными, полагаю, блестящее, да и только, и никак не иначе, будущее.

Собственно, все это громкое, с похвалами и заверениями в чем-то радужном впереди, говорение началось еще до московской жизни богемной, на Украине, поначалу в моем родном городе Кривом Роге, где я вырос и начал писать вперемешку стихи и прозу, где писания эти мои ранние были замечены вовремя, вот что существенно, местными литераторами и вскоре уже одобрены и признаны ими, а также читателями и слушателями нашими, а потом в Днепропетровске, где на совещании (действе официальном, с размахом, с широкой оглаской, с газетными публикациями в областной периодике,

словом, всем, чем щедра советская власть была) молодых литераторов Приднепровья, в начале того же переполненного событиями до предела, до невозможности, каковая была возможной, по судьбе, шестьдесят четвертого, я произвел фурор своими стихами тогдашними, да такой, что лишь в сказке бывает, как меня уверяли потом, и на меня приходили целыми толпами всякие участники совещания и люди со стороны, ценители и любители поэзии, просто, как водится, поглазеть, пообщаться, послушать, как я читаю свои опусы стихотворные, а литературные, в силе, при власти и при чинах, генералы и воротилы зазывали меня к себе в Киев, обещая поддержку всяческую, например, конкретную помощь с поступлением предполагаемым, скорым, в университет и широчайшие прямо-таки в будущем перспективы, только бы я откликнулся на их, воротил чиновных, заманивание усердное, на что я, уже ученый кое-чем и школу прошедший суровую, но полезную, разумеется, не пошел.

Забавно, что происходило это уже после грозного хрущевского, с громом и молниями, невиданного разгрома всяческих формалистов, неугодных властям, затронувшего и меня, со злыми, бичующими юные и наивные, но и свежие, непривычные для партийцев, мои писания, статейками в областной и республиканской, то есть родной украинской прессе.

Но этого почему-то вроде бы как и не было.

Столь велико желание было у киевлян — заполучить меня, талантливого, молодого парня, да поскорее, перетащить к себе.

Однако, давно принявший свое решение, личное, независимое, по чутью, как всегда, я уехал в Москву, поступил в МГУ, освоился в столице — и начал жить, сразу же, безоглядно, той жизнью свободной, которой еще со школьных, с мечтаниями в романтическом духе, лет, я терпеливо, стойко, с надеждой на чудо, ждал.

Жизнь в столице на первых порах меня, человека приезжего, становившегося москвичом постепенно, хоть и в ускоренном темпе, как в музыке жизни случается иногда, не сплошь и рядом, поверьте, лишь изредка, только радовала.

Известность моя, вначале бывшая устной, с голоса, по причине чтений моих частных образовавшаяся, уже, пускай и не сразу, входила в стадию письменную, самиздатовскую, потому что появились в кругах богемных, а потом и среди любителей новейшей литературы списки, энтузиастами сделанные от руки, по горячим следам, как водится, и машинописные копии тогдашних моих стихов.

Это, новое, обстоятельство, эта, новая, ипостась — восприятие текстов моих читательскими глазами — было более важным, нежели привычное чтение вслух и восприятие этих звучащих стихов со слуха, пусть оно и бывало в те дни поразительным, слова точнее не найти сейчас, и не надо мне искать его — для меня.

Это внутренне встряхивало, собирало, как-то подтягивало, ко многому, благо было на кого равняться, обязывало.

Да, все как один говорят, что читал я встарь замечательно.

И сам я прекрасно знаю, что было это — искусство.

Традиционное наше, певческое, орфическое.

Но читать непростые тексты с листа, сознательно быть наедине с конкретным, открывающимся не сразу и сознанию, и сердцу, текстом, — это еще серьезнее, это всегда испытание для поэта — как и насколько верно, так ли, как надо, воспримет вещи его, существующие на бумаге, в записи чьей-то или в машинописи, без всяких официально изданных книг, такого и в мыслях не было ни у кого, на это и не надеялись, об этом и не мечтали, ни пишущий, ни читающий, нам все издания, оптом, вполне заменил самиздат, — не слушатель, а читатель.

Остаюсь при своем, незыблемом, ни на йоту не изменившемся, по прошествии времени, мнении, скиф-отшельник, я и сейчас.

Хотя, скажу напрямик, некоторые из тех, уцелевших, чудом, возможно, выживших, прежних друзей и приятелей лет, ушедших навсегда, могикане богемы, хорошо, до подробностей, помнящие, как я раньше читал, то и дело выражают желание общее, при нынешней-то развитой технике, сделать студийные записи чтения моего.

Желание это действительно ведь не просто так, не от печки, не с бухты-барухты высказано.

Это, если подумать, важно.

Не будет меня на свете — уйдет со мной и мое искусство — личное, кровное, вне канонов, — искусство чтения.

А так, вполне вероятно, при наличии видеозаписей, глядишь, и включит какой-нибудь грядущий любитель поэзии видеоманитофон, поставит кассету нужную, поудобнее расположится — да и станет, в домашних условиях, не выбираясь из дому ни на какие там вечера поэзии, где-нибудь идущие, и ни в какие литературные клубы, с комфортом, в тепле, в уюте, чтение слушать мое, а заодно и смотреть на меня — что за птица такая, залетевшая издали прямо в завтра, к счастливым потомкам, что за зверь такой, из берлоги, не иначе, из ямы какой-то, из разверстой дымящейся бездны, из двадцатого странного века, где искать с фонарем человека днем занятие рядовое, для поэтов даже привычное, а сказать поточнее, типичное, коли ты существо не тепличное и рискуешь при том головою, что за тип такой перед ним, кем и чем был он в жизни храним, как успел написать столь много, что за дар у него от Бога, — или, может, в компьютер диск, на котором записей прорва, вставит как-нибудь под настроение кто-нибудь — и глядит на экран, где, сквозь давних времен туман, сквозь белесые наслоения, сквозь пространство, преодоленное так легко, что везде мне дом, находясь в измеренье другом, я читаю стихи, — дело техники, современной и своевременной, зафиксировать чтение это, ну а техники песня не спета, и пределов ей, видимо, нет, — вот и голос мой выйдет на свет, голос прежний, чтение, звук, — ночь со снегом и век со СМОГОм, жизнь, скитания по дорогам, ключ и клич, магический круг, за которым — начало встреч, имя времени, путь и речь...

Годы идут, впрочем, а желание энтузиастов, по инерции существуя в их мечтах, в головах их седых, доселе, само собою, остается неосуществленным, потому что никак не найдутся деловые ребята, толковые, современные, с аппаратурой соответствующей, которые пришли бы ко мне однажды да и сделали видеозаписи.

Странное, нет, не странное, закономерное, видимо, незаметно, исподволь как-то выработалось, оформилось и спокойноенько прижилось посреди междувременья нашего отношение так называемой общественности, категории весьма условной, ко мне — мол, существует Алейников где-то осторонь от всего и от всех, очень много работает, все в трудах своих праведных, вечных, ежедневных и ежечасных, год за годом, десятилетиями, стал затворником, говорят, он и раньше был таковым, утверждают люди бывалые, а теперь-то совсем затворился у себя в Коктебеле, у моря, в киммерийском доме своем, никуда не ходит, не видит никого, только пишет и пишет, значит, жив еще, ну и ладно.

Я, может быть, и ворчу, далеко не всегда, иногда, если что-нибудь или кто-нибудь, как теперь говорят, меня даже здесь, в укроме спасительном, в коктебельской глуши, достанет, на моих современников, что ж, это мое право.

И я еще жив, представьте, это действительно так.

И с Божьей помощью я постараюсь пожить еще, подольше, насколько возможно, чтобы сделать больше, поскольку велик мой потенциал, как говорят, со значени-

ем, литературные критики, чтобы хотя бы часть своих, неизменно требующих работы и вновь работы, водолеевских, то есть фирменных, максималистских замыслов, осуществить, воплотить в слове, как выражаются участники постоянные неведомо кем придуманного, неведомо где идущего зачем-то «литературного процесса», может быть — шествия, может — и карнавала, по Бахтину, возможно, а может быть — и процессии, но какой? — погребальной? праздничной? — нет ответа — и тройка мчится, неизвестно — куда, и Русь тоже движется — но куда? — в завтра, что ли? — неужто вправду в светозарное наше завтра, нам обещанное давно? — или, может быть, все равно, все едино в мире подлунном, и ударит опять по струнам некто с краю, раз, еще раз, еще много, много, не раз, этих самых гитарных раз, напоказ или про запас, то с похмелья, то с пьяных глаз, — и в процессе, любом, культурном, даже в этом, «литературном», что-то, видимо, все же есть, честь и совесть, благая весть, лесь ли, месь ли, напасть и власть, за которой, напившись всласть чьей-то крови, встает кошмар, мор, угар, мировой пожар, — смотрит Гоголь на этот бред из имперских далеких лет, говорит иногда со мной в тишине затвора сквозной, по привычке, о том о сем, о немногом и обо всем, а потом помолчим вдвоем, каждый с думою о своем, попрощаемся — и опять надо мне о былом писать, — вот и весь, для меня, процесс, и, поймите вы, не исчез никогда я, тружусь всегда — и светла надо мной звезда.

Но я говорю сейчас о важном, во всяком случае, для себя, старика, — о внимании.

Ведь было — искусство чтения.

Наиболее развитое — у меня и у Лени Губанова.

Губанов ушел — и его искусство с ним тоже ушло.

Кто его хоть разок услышит — и теперь, и когда-то потом?

Вот, например, концерты Вертинского не записаны, пусть это и другая область. Утрата огромная. Теперь мы слушаем — просто голос, пусть и чарующий. Могли бы — еще и видеть, могли бы, с помощью записи, — присутствовать, при желании, на этих давних концертах.

Своевременное внимание — так ли много его у нас, в нашей, вроде бы неравнодушной к людям, полной загадок стране?

В шестидесятых внимание — было, еще и какое! Представьте, тою же осенью шестьдесят четвертого, я, человек молодой, стихи свои читал даже в Доме Союзов.

И туда меня затащили.

Голову мне внимание это, равно как и вдруг появившаяся, как в сказке, молодая моя известность, вовсе, насколько помнится, ни капельки не кружили.

Как всегда, никаких личных выгод для себя из такого форта и не думал я извлекать.

Общение! — вот что было негласным всеобщим лозунгом добронравного этого времени.

Девизом? Ну, пусть и так.

Общение! Все — хорошие! Все решительно — интересные!

Вон сколько людей способных и талантливых даже вокруг!

Братцы, это же впрямь новый, наиновейший, удивительный Ренессанс! Не какой-то чужой — наш, отечественный!

Какие там стукачи, лубянские штучки, доносы, наблюдение, выявление неугодных кремлевским властям подозрительных всяких личностей, о чем временами, с оглядкой, полушепотом говорят!

Наплевать нам на все это, вот что!

Чего и кого бояться?

Надо всем повсюду общаться. Обо всем говорить в открытую. Почаще на людях быть. Жить — интересно, со вкусом, этак по-русски, с размахом. Жить, а не существовать.

Перемены — о, разумеется, к лучшему, только к лучшему, — грядут, назревают, мерещатся в грядущем, это уж точно, перемены — и в жизни страны, и в жизни любого из нас.

Все к лучшему, правда? Не так ли?
Не сомневайтесь, вскорости будет еще лучше.
Оптимистичность — она, знаете ли, хороша.
Все молоды. Все поголовно полны богатырских сил.
Общение! Жаждем общения!..
Вот каковы были общие настроения.
В том числе и мои собственные.
Во всяком случае — осенью шестьдесят четвертого года.
Вскоре — все изменилось.
Вскоре — пришлось нахлебаться мне такого, что было уже не до наивной, с бурей и натиском, оптимистичности.
Но это было — потом.

Нет, причин для того, чтобы, вздрогнув от предчувствия бед неминуемых в поле зрения, вмиг настораживаться, быть в седле, бить тревогу заранее, собираться в комок, защищаться от напастей — пока что не было.

Длилась осень. Сентябрь был огромен и светел.
Мир, открытый для песен, сияньем вставал предо мной.
Какие дали, какие пространства мне открывались!
Измеренья иные. Области, с новизной своей, для души.
Планеты. Символы. Знаки.
Созвездья. Галактики целые.
Звездный путь с земными дорогами.
Путь духовный. Всегдашний свет.

Что читал я? Какие книги тогда меня окружали?

Пушкин, девятитомник, — и Хлебников, пятитомник, том неизданного, том избранного, томик в малой, компактной серии «Библиотеки поэта».

Гоголь, конечно, — любимейший шеститомник, в котором весь он не умещался, таинственнейший, пленительнейший поэт, в одиночестве, в творчестве, в жречестве, в провидчестве давнем своем, осторонь от суеты, в затворничестве, отдельно от всех, лишь сам по себе, везде и всегда, судьба такая, планида, с миром своим, сотворенным, личным, вечным, наедине, людям русским радетель, речи создатель, света хранитель, ведический гений, пророк.

Лермонтов, четырехтомный, — и восьмитомник, синий, как плащ в стихах его: Блок.
Тютчев и Боратынский. Двоица: гений, ум.
Шевченко, его «Кобзарь», — и Тычина, ранняя лирика.
Фет и Некрасов. Грусть. Радость. За ними — Русь.
Батюшков и Державин. Музыка и судьба.
Карамзин и Крылов. Слова безупречные. Труд. Молва.
Жуковский, божественно светлый, и Алексей Константинович Толстой, воитель степной.

Волошин: его «Лики творчества», редкостное издание, самиздатовские поэмы и многие стихотворения, — и, сквозь ритмы вздох и смыслы круговертью, Андрей Белый: «Петербург», «Серебряный голубь», стихи, статьи, мемуары.

Бунин, скупое, с оглядкой, с опаской, как бы чего не вышло, издаваемый все же тогда, потому что не издавать уже было нельзя, и вскоре появится девятитомник, —

и Куприн, вполне подходящий для советских частых изданий, пусть не весь, но и этого хватит, пока что, ведь он — читаемый широко, и порой замечательный.

Толстой, светоносной глыбой звучащей — «Война и мир», и рассказы его, и особенно — «Казачьи», «Хаджи-Мурат», — и Достоевский, издавна раздражавший, но и притягивавший: «Бесы», труднодоступные «Дневники писателя», давнее, в мягкой обложке, издание.

Паустовский, на редкость чистый человек, педагог великий, весь решительно принимаемый и отстаиваемый всегда, и особенно «Повесть о жизни», — и Грин, человек особенный для меня, никакой не романтик, а несомненный мистик, знак на дороге вдаль.

Цветаяева, самиздатовская, прошлой осенью переписанная от руки: большие поэмы, стихотворения, драмы, — а теперь уж и перепечатанная на машинке, догутенберговская, как сказано было, ее великолепная проза.

Самиздатовская Ахматова: «Реквием», поздние вещи разрозненные, «Поэма без героя», кусочки прозы; изданные в советское время книги стихов, издания прежние, с их эстетикой, вкусом, стилем.

Самиздатовские: Гумилев, «Огненный столп» и другие, чередую, книги его; Заболоцкий, «Столбцы», поэмы, великая поздняя лирика; Мандельштам, пятитомник стихов, потом — «Разговор о Данте»; Ходасевич, и прежде всего «Европейская ночь»; Северянин, восхитительный соловей; Клюев, скит, на крови, в глуши; Нарбут, ветер, полынь и воля.

Федерико Гарсиа Лорка. Страсть и тайна, боль и луна.

Пруст, «В сторону Свана», первый перевод, еще довоенный.

Дос Пассос, парадоксальный коллаж, в переводе Стенича.

Ницше, «Так говорил Заратустра», вышедший до революции солидный том в золотой плотной суперобложке.

Андрей Платонов, страдалец, великий русский писатель, самый первый изданный томик прозы, сразу, надолго, ставшей откровением для меня.

«Полутораглазый стрелец» Бенедикта Лившица. Хлебников и Бурлюк. Заря футуризма. Цвет богемы. Пристальный взгляд.

«Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Всеми нами многожды читанные мемуары. Окошко в мир заграничный. Париж. Писатели и художники. Судьбы сложные. Смелый шаг, по тем временам.

Пастернак, стихи: самиздатовские (всем известные ныне) — из «Доктора Живаго», его «Вакханалия» фантазмагоричная, «Нобелевская премия», остальные — в изданных ранее книгах; проза его — «Охранная грамота», «Детство Люверс», прочие повести, некоторые, выборочно, статьи, самиздатовские — «Живаго», «Люди и положения».

Тынянов, трехтомник, зеленый. Проза. Очень хорошая.

Булгаков, «Жизнь господина де Мольера», в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей». Но еще и ранние книги его, в двадцатых годах выходявшие. Далее — самиздатовская жемчужина, затрепанная машинопись — нарасхват ведь — «Собачье сердце». Ну а «Мастер и Маргарита», из журнала «Москва», урезанный, с дополнениями самиздатовскими (все фрагменты, цензурой снятые), — это будет чуть позже, потом.

Олеша, том его «Избранных сочинений», изданных, помнится, в пятьдесят шестом году, и вот-вот уже выйдет книга «Ни дня без строчки», — и Катаев, писатель блистательный, с детства мною любимый, но, выяснилось вскоре, силу все набирающий, чтобы долго всех изумлять новой прозой своей, небывалой, еще до «Святого колодца».

Настоящий писатель, Юрий Казаков, человек, в природе свой, лесной, заречный, заоблачный, друг сердечный листьев и трав.

Самиздатовская, чудеса в колесе, да и только, «Автобиография» Евтушенко, сочинение малоприятное.

Вознесенский и Ахмадулина, Аксенов, с ним и Гладилин — были-то были, но вскоре отодвинулись далеко, потому что уже вырабатывался в те года новый угол зрения на все, что издавали модные шестидесятники.

Двухтомник Хемингуэя, зарубежная, из основных, проза, взалхлеб читаемая, нашей молодости далекой.

Шервуд Андерсон, изумительный писатель. Из настоящих. Однотомник его, единственный, берегу, любя, до сих пор.

Мифы. Древняя Греция. Рим. Отголоски ведических преданий русских. Герои. Боги. Виденья, порою.

Гомер. «Илиада». Русский перевод. «Одиссея». С голоса. В саду моем. Или у моря. Ветер, треплющий волосы.

Античная лирика. Некие осколки. Фрагменты целого. Мир, никуда не ушедший. Отзвуки слова смелого.

Русские сказки. Чудо. Кладезь премудрости. Право на первородство. Всюду — правда. Вечная слава.

Рембо, поначалу маленькая книжка, самая первая. Но и этого было достаточно, чтобы все мгновенно понять. Потом — начинались поиски других изданий. Открытия продолжались. Тексты — события. Прочитать, впитать и принять.

Футуристы. Что попадетсЯ. Что найдется — чисто случайно. Вдруг отыщется. Позабавит. Озадачит. Потом — удивит.

Символисты. С ними сложнее — но и проще: слово скуднее. Несмотря на трудности смысла. Вроде алгебры: знаки, числа.

Анненский — начинался не сразу: его присутствие в мире осознавалось постепенно. Дивный поэт пришел ко мне чуть позднее, вместе с Музой своею, с мукой своей и с музыкой, равной которой нет.

Груда целая самиздата: пародия на роман Кочетова, писателя советского, сверхкондового, «Чего же ты хочешь?», названная, в лоб слегка, с юморком, «Чего же ты хохочешь?» — не помню, кем сочиненная, — было такое произведение встарь, по рукам, забавляя нас, ходило в шестидесятых; Введенский, Хармс и Олейников — обэриуты — мир гротеска и парадоксов; ранние тексты Бродского, в основном образцы его поисков себя самого, своего стиля, строя и смысла, где попадались изредка полноценные, крепкие вещи; стихи московских поэтов, то есть Холина и Сапгира, Горбаневской и Красовицкого, ну и прочих, вразброс, и так далее.

Много читал я тогда.

Всего ведь не перечислишь.

Книги — рядом все время были.

Книги — сами ко мне приходили.

Когда, внезапно, как правило, если есть хоть какие-нибудь, в таких состояниях, правила, ощущал я, всей кожей, хребтом, некий зов, знакомый до боли, неизменно всесильный и властный, то все моментально бросал — и устремлялся в пространство.

Пригородные, грохочущие всем нутром своим электрички уносили меня все дальше от столицы, все глубже в осень.

Я выходил, бывало, на незнакомом перроне, шел наугад куда-то, лишь бы идти вперед.

Леса вокруг раздвигались в обе стороны, передо мною, словно в живописи старинной, незаметно и постепенно, как во сне, так могло показаться, но, конечно же, наяву, раскрывалась весьма загадочная, с ускользающими от взгляда, словно в прытки со мной

играющими, чтобы вновь укрупниться, выявиться так отчетливо и спокойно, что невольно я диву давался, очертаниями окрестных, передвижнических пейзажей, вся лучающаяся, бликующая, в желтых листьях, пятнах, мазках чьей-то кисти нетерпеливой, но чудесной, преображающей всю округу, похорошевшую от волшебного преображения, бесконечная перспектива.

Свет с небес преломлялся, как в линзе, в темной, сонной воде прудов.

На буграх, высоко над прудами, над водой, отражающей их белизну и ампирную стройность, одиноко стояли усадьбы.

На их фасадах, морщинистых, словно старческие, из прошлого дворянского, показавшиеся, чтоб остаться здесь навсегда, породистые, выразительные, по-своему добрые лица, колонны, прямые, строгие, неуклонно тянулись вверх, как старые, но меж тем все еще очень крепкие древесные, с твердой корою в рубцах и шрамах, стволы, и поблескивали, поигрывали веселые зайчики солнечные в зеркальной, почти астральной, лаковой темноте раздробленных перемычками деревянными на ячейки, соты напоминающие, пыльных оконных стекол.

Чирикали вездесущие, любопытные воробьи, картаво, по-тарабарски, покрикивали вороны.

От крыльца со ступенями, брошенными, наподобие веера, вкось, разбегались, ну прямо как взапуски детвора, прямые дорожки, уходили в запущенный парк или дальше, в заглохший лес. Там просматривались деревни — деревянные серые избы, иногда уже покосившиеся, будто сложенные в гармошку, иногда, пореже, целехонькие, с резными, по русской традиции, наличниками и ставнями.

Там пели захлеб, неистово, часовыми в глуши, сторожами всех времен и семейств, человечьих или птичьих, не все ли едино здесь, на скудной земле, петухи, глуховато, как будто спросонок, полаивали собаки, воспаленно и дробно аела во дворах захудалых рябина.

Там шла не совсем еще понятная мне, потайная, укромная, сирая, скромная, скромнее некуда, жизнь, закрытая от всего ненужного, постороннего, полностью отделенная от жизни чужой, городской, и тем более жизни столичной, там шла стародавняя жизнь, домостроевская, возможно, со своими строгими правилами, разительно непохожая на жизнь в приветливых, светлых, больших украинских селах, давно, хорошо мне знакомую.

Это была Россия, и я каждый раз ловил себя на том, что лишь по своей воле, по своему желанию нахожусь нынче в совсем иной стране, чем та, что оставил я в Диком Поле, на юге, в Скифии, в запорожских землях исконных, моя, родная, степная.

Что-то замшелое, тусклое, закосневшее в дряхлости, ветхости, угро-финское, колдовское, вдруг бросалось в глаза, а потом почему-то сразу же пряталось неизвестно куда и зачем, не желая совсем выпячиваться, вот и все, на передний план.

Церкви, порою заброшенные, с поросшими сорной травой и даже как-то прижившимися высоко над землей деревцами, ободранными куполами, стояли в отъединении от повседневности, в полном одиночестве, где-нибудь поодаль, и если были на них кресты, то, увы, покосившиеся, кривые, но чаще их не было вовсе, и отсутствие их очевидное ощущалось особенно остро — точно самое главное в песне в приказном устранили порядке, никого об этом не спрашивая и ответственности не страшась, точно вычеркнули из списка нечто необычайно важное, или нужный предмет убрали, или вырвали прямо с корнем плодоносящее дерево и куда-то его увезли, и осталась одна пустота, в которой мистическим образом угадывалось присутствие креста, и, при скромном даже воображении, он высветлялся сквозь синеву, появлялся на миг и опять растворялся в сентябрьском небе, где уже сменялась дневная синева предвечерней дымкой, наплывали вновь облака, появлялся прохладный ветер, пускался гулять по окрестно-

стям, и слетали с ветвей дрожащих огоньками желтыми листья, и откуда-то издали, что ли, да, конечно, издали, впрямь из-за резко прочерченной грани горизонта, из необъятного, беспредельного зазеркалья, из-за глинистых, бурых откосов, из древесной коричневой гущи, доносился крик электрички, и пора мне было, пора возвращаться в Москву, обратно.

И я выбирался к пустому перрону, и вот уже мчался в несущемся сквозь убегающие в обе стороны, влево и вправо, наугад, без оглядки, деревья, признающем лишь скорость, ею козыряющем в спорах, вечных и бессмысленных, с расстоянием, и ее же не забывающем никогда приберечь на потом, целенаправленно мчащемся туда, куда полагается по расписанию, поезде, и за окошком вагонным начинало уже смеркаться, дверцы с визгом резким распахивались и с отчаянным треском захлопывались на всех остановках, состав срывался мгновенно с места и сразу же, без заминки, устремлялся вперед, пассажиры усаживались поудобнее на жестких сиденьях, за окнами темно, внутри вагона зажигали мигающий свет, и в стекле отражались все мы, — и вот уже скоро Москва, подъезжаем, ну вот и приехали, — я выходил на вокзале, спускался в метро, добирался домой, постепенно, не сразу возвращаясь уже в другую, совершенно другую жизнь, столичную, благоустроенную, устойчивую, надежную, преспокойно, легко сносящую все порывы мои в путешествия, относящуюся ко мне, как, пожалуй, к весьма романтически настроенному фантазеру, принимающую меня, со вздохом, конечно, и даже порой с невольным укором, уж такого, каков я есть, поскольку вряд ли кому-то удастся меня исправить, но, впрочем, я сам по себе, а она сама по себе, вот на этом-то и поладим, — и я в своей комнате медленно привыкал к вечерам столичным, чаевничал, музыку слушал, читал, а то — в коридоре звонил телефон, меня подзывали старушки соседки, я подходил, брал трубку, разговаривал, — что ж, опять звали в гости, — да-да, приеду, — собирался, накидывал плащ, выходил, уезжал, приезжал, добирался до нужного места, — встречали: приехал! мы рады, привет, поскорее входи! — вечер длился, уже — в общении, в ритуальном тогдашнем чтении, в разговорах беспечных дружеских за вином, превращаясь в ночь, — все спохватывались: успеть бы на метро! — собирались, прощались, расставались — буквально до завтра, — я спешил к метро, забегал, запыхавшись, вовнутрь, — и ехал, приходя в себя постепенно по дороге, до Автозаводской, — выбирался на улицу, мигом добирался домой, — ну вот, наконец-то я здесь, теперь — отдыхать. Но не тут-то было!

Ночь томила меня, манила всем заветным, что сердцу мило, что возвысил я и воспел.

Ночь вставала в окне, дышала всем, что в прошлом уже осталось, всем, что я пережить успел.

Я не спал. Ночь была смурною. Ветер вздрагивал за стеною — и, к стеклу прикипев, молчал.

Осень прежней цвела весною. Образ времени предо мною оживал — и уже звучал.

Мне хотелось бы выразить ныне свет в апреле и звук в апреле, свет — спасительный, звук — начальный, тот, с чего все и началось.

Томящийся в смутном предчувствии чего-то совсем небывалого, долгожданного, свежего, нового, кровно важного для меня, вдруг увидел я свет целительный и услышал я звук спасительный, в первых числах апреля, на родине, посреди блаженного дня.

Свет был ясным и золотым.

Звук был чистым и долговечным.

Ко мне вдруг пришли стихи.

Сами. Я стал их записывать.

Это было — мое. Я знал.

С той поры и пишу их. Поньше.

Вновь тревожит меня родное,
 слух и взгляд, словно встарь, открыв.
 Свет со мною и звук со мною.
 Навсегда. Покуда я жив.
 Свет — спасает, звук — пробуждает.
 Свет — ведет сквозь темь, звук — речь рождает.
 Сон ли? Явь ли? Так и живу.
 Все тружусь. А куда деваться?
 Нам никак нельзя расставаться.
 Свет — увижу. Звук — призову.
 Свет — придет. Звук — раздастся снова.
 Шевельнется первое слово.
 Прорастут другие за ним.
 В нашей речи — вселенской ткани —
 мы извечно стоим на грани
 тьмы осенней и вешней рани,
 где горенье в душе храним.

Надо сказать, что в ту пору, в шестьдесят четвертом, в апреле, писал я стихи запоем.
 Пришло наконец — мое.
 Новое. Настоящее.
 Понимал я: надо работать.

Продолжалось это и в мае и окрепло тогда настолько, что чувствовал я за плечами легкий шелест расправленных крыльев, когда, молодой, вдохновенный, ощущавший себя поэтом настоящим, жил я в Крыму, а потом, одинокий романтик, наслаждаясь полной свободой, изумляясь всему на свете, путешествовал, налегке, без излишних вещей, по крымским городам и поселкам приморским, — и несколько позже, летом, когда у себя на родине твердо знал я, что все, о чем в предыдущие годы мечтал я, все, во что я столь искренне верил, все к чему я стремился упрямо, выживая по-своему в скифской, грустноватой, степной провинции, все мое — непременно сбудется, что вскоре стану я жить не где-нибудь, а в Москве, — и осенью, той, московской, о которой вам я рассказываю в этой книге, вразброс, урывками, в самых разных ее частях, продолжалось, да и зимой, и весной, во времена смогистские, с бурей и натиском, по Гёте, или по Шиллеру, неважно, скорее по-нашему, по-русски, непредсказуемо, так, что поди гадай, чем это все завершится, и завершится ли полностью когда-нибудь, и не станет ли бесконечностью, вечным движением ввысь и вглубь, неожиданным кружением по столице, новым сражением, только с кем, и зачем, и когда, — и особенно сильно выплеснулось летом в раю иль в аду, как Рембо когда-то сказал, и осенью шестьдесят пятого, судьбоносной, без иронии перестроечной, в самом деле необычайной, той, с которой милее свет стал негаданно, боль исчезла, и любовь наконец воскресла среди огнем опаленных лет, — и все это стало книгами, с запозданием страшным изданными, в девяностых уже, и книги сами к людям пришли, точно так же, как намного раньше они приходили к людям в бесчисленных самиздатовских перепечатках, — и теперь я смотрю на книги, листаю порой страницы с такими знакомыми текстами, и вижу — истоки, апрель.

Конечно, как и у всякой истории есть предыстория, так и у этих истоков есть свои предыстоки, так я выражусь нынче, надеясь, что меня хоть однажды поймут, и это — мои времена криворожские, времена всех тогдашних стихов, начиная с осени шестьдесят первого, и шестьдесят второй весь работа сплошная, и весь шестьдесят третий — годы поисков, ученичества, обретения речи своей, но об этом лучше — потом.

Теперь мне куда важнее мой апрель, — и я вижу себя в нем, в самом начале месяца, и сам себе удивляюсь, и вере тогдашней своей в грядущее, и отваге молодой, и надежде твердой на самое лучшее в мире, и солнцу над головою, и звездам, и радости творчества, и грезам своим, и яви, и снам, и, конечно, любви.

Когда бы не свет и звук...

Пришли ко мне они вовремя!

И я ощутил разъятость времени, для которого нет невозможного в мире, и протяженность пространства.

И стал — навсегда, полагаю, — отныне самим собою.

Весна разрасталась не только в природе, не только в творчестве, но и в душе моей.

Пела каждая клеточка всего моего существа.

Наш дом переполнен был музыкой, которую слышал я, как никто другой, днем и ночью, и записывал постоянно.

Я ходил на работу, в школу, где числился воспитателем группы продленного дня. Ребятишки меня любили. Я с ними вроде бы ладил. Находил с ними общий язык. Был с ними не воспитателем, но попросту старшим другом. Выросшие, годами они потом вспоминали меня. Наверное, было за что. Хорошо, что — так.

Но жил я — в собственном, стройном, непохожим на прочие мире.

И мир этот с миром природы и миром творчества связан был так прочно, что вряд ли бывает прочнее незримая связь. Направляясь ли на работу, возвращаясь ли поздно с нее, бродил я по берегам наших рек, неспешных, седых, в парках, где жгли костры, сжигая в них прошлогодний мусор, прелые листья, срезанные садовниками ветки, и к ясному небу поднимался пахучий дым, и подрастала свежая трава, и птицы окрестные пели многоголосым, неслыханно слаженным хором, а воробьи, которых в ту пору было так много в нашем городе, дружно чирикали, собираясь везде такими невероятными скопищами, что были слышны отовсюду, где бы ты ни находился, и вода в Саксагани к вечеру становилась леностно-томной, а в Ингульце становилась вода напряженно-тягучей, и Саксагань сливалась с Ингульцом, и вот уж один он, расширившийся, возможно, и не такой могучий, каким был он в древности, судя по сохранившимся сведениям, когда назывался он в Скифии Пантикапесом, а когда-то, совсем давно, во времена ведические — Хингули, но еще крепкий, понимающий: силы при нем, устремлялся к югу, спиралями, витками, узлами, изгибами, поворотами, разворотами, все дальше, дальше и дальше, по холмистым нашим степям, становящимся постепенно ровнее, приземистей, шире, к Днепру, чтобы вместе с ним выйти, вырваться к морю.

Я и сам вышел, вырвался к морю тогда, в конце моего памятного апреля.

Потому что — нужно было море.

Я взял да уехал в Крым.

Там, в раю субтропическом, в мае, стал я уже окончательно, повзрослев, ощущая путь, к сути звавший, самим собою.

Любовь? Да, была и любовь.

И весь южный берег, праздничный, пряный, хмельной, чарующий, накрепко врезался в память, с терпкими, сочными запахами каменистой прогретой почвы и диковинных, буйных растений, и волны морские пенились под луной, и звезд было много, не счесть, и небо темнело, сгущаясь до черноты, до смоляной зеркальности, и тускло белели стены узорных дворцов и ограда, по шоссе проезжали автобусы, и резкий, дорожный запах отработанного горючего тут же, на месте, смешивался с тонкими, благородными, вкрадчивыми ароматами ковровых трав и цветов, а море плескалось внизу, соленое, бесконечное, медленно прогревающееся, и шли по нему корабли, а наверху, на склонах горных, уступами, ярусами гнездились дома, сады завершались роскош-

ными парками, парки тянулись в горы, и там, совсем высоко, плескалось, переливаясь лучами прозрачными, небо, и шли по нему облака, и дымка, повиснув над морем, сгущалась в хмарь, тяжелела, темнела, и шли дожди, и я выходил побродить под дождем, в своем синем плаще, и шел неизвестно куда, по наитию, но всегда получалось так, что туда, куда мне и надо было, и я приходил, а дождь все лил, и я возвращался, и ждала меня там любовь, и дождь, помедлив немного, переставал шуметь по листьям, светило солнце, и сердце вновь оживало, и все это было тем, чего я столь долго ждал и чего наконец дождался, и теперь, пожалуй, пора идти мне дальше куда-то, — сон ли? явь ли? — не все ли равно вам? — с явью сон, сновидение с явью, — все возможно и все допустимо, — сон, пожалуй, а все же — явь.

И я уехал. Ветер путешествий меня окликнул. Я увидел Крым в цвету, на грани мая и июня. Весь южный берег, от Алушты и Гурзуфа до Симеиза, был распахнут мне. Бывало, в Ялте, вечером, в пору, я корабли, печальясь, провожал. И Севастополь вдруг меня встречал, с прекрасными своими кораблями. Мелодией восточной прозвучал Бахчисарай. Был Симферополь жарок и странно бел, сплошные перекрестки, ракушечные легкие дома, беспечные балконы. Старый Крым, с его тогдашней сонной тишиной, с развалинами караван-сарая, средневековой сказкою мечети Узбека, сквозь окрестную листву, и с домом Грина, и с его могилой, и с грецкими орехами впотьмах, и с тополевыми в утреннем тумане, сменился Феодосией, чудесной в своей дремотной памяти о прошлом. Потом был Коктебель. И понял я, что здесь когда-нибудь я буду жить. И я вернулся в скифские края, на родину. А летом вновь уехал, уже в Москву. И стал в ней обитать.

Но там, на радость мне, стоял сентябрь, и я срывался с места, уезжал, то во Владимир, то на Нерль, то в Суздаль, то в Подмосковье, и потом, усталый и полный впечатлений, возвращался в столицу милую, к семи ее холмам, и небесам, и рекам, и домам, с которыми надолго не прощался.

И такая вот круговерть путешествий, перемещений в пространстве, да и во времени, а вернее всего — сквозь время, сквозь пространство, к речи моей, к этой музыке или муке, к этой радости в каждом звуке, в каждом слове и в каждом шаге к новой грани, к сплошной отваге, увлекала меня, притягивала, вовлекала меня в движение, постоянное, необходимое.

Да и Москва сама, со всеми (ноты в гамме?) своими древними, широкими кругами, не то магическими, с брюсовской подачи, не то лирическими с виду, не иначе, не то эпическими, что ли, со своими, от центра самого, от старого Кремля, от сердца города, развернутыми туго спиралями, прорывами из круга, была, возможно, зримым воплощением, наглядным образом той жизни импульсивной, той молодости, все-таки моей, не чьей-нибудь, а именно моей, с которой невозможно мне расстаться и днесь, в мои зрелые лета, настолько много значила она в судьбе моей. И так, стоял сентябрь.

И на таком-то небывалом фоне сплошных открытий, частых путешествий, взаимопревращений, откровений, надежд, восторгов, и произошла, поскольку быть иначе не могло, незабываемая наша встреча с Губановым, в далеком сентябре, в прекрасном времени сиянии, состоялось знакомство наше, знаковое, впрямь, которому, знать, было суждено стать дружбой, непохожей на другие, из коей, в свою очередь, свободно, естественно, легко, и прозрел, все изменив повсюду вскоре, СМОГ.

Дружить с Губановым, Ленечкой, как его называли все в богемной среде, Губанычем, как его называли приятели, гением современности, как сам он себя величал, поверьте мне, было непросто.

Прежде всего, потому, что в быту, в непрерывном общении, в повседневности, в той ощущаемой всеми оптом людьми на свете, год за годом и час за часом, поминутно, ежемгновенно, и в результате собственного, незаемного, личного опыта постигаемой, как уж вышло, как уж выпала карта, действительности, то есть зримой, конкретной реальности, был он, поэт и буян, человеком весьма избалованным, постоянно, без всякого повода в основном, или если и был этот повод, нередко придуманный, нарочитый, липовый, мнимый, да еще и с врожденным упрямством, выпадающим, вылетающим в никуда из этой реальности, больше того, зачастую, из принципа, не желающим, ни за что, никогда, с ней считаться, и уж тем более — знаться, и, что было всегда для него непреложным, железным правилом, примиряться когда-нибудь с нею, — нет, это не для него, он категорически против, ни за какие коврижки не станет вести он себя как все вокруг, соблюдать какие-то, ишь ты, поди ж ты, приличия, что за дела такие, что за вторжение, галошами чьими-то в душу возвышенную, стараться особо не выделяться, проявлять, по возможности, выдержку, тактичность, умение ждать, научиться терпеть, а порой и смиряться, пускай через силу, с обстоятельствами, во имя выживания главного, творческого, — нет, не для того он рожден, вовсе не для того явился он в мир, чтобы ладить с действительностью, — он особенный, он это знает, ему некогда ждать, ему надо, кровь из носу, все на свете успеть перепробовать, все увидеть и все почувствовать, испытать на собственной шкуре, — он как раз в разладе с действительностью, в размолвке со всем, что мешает ему на его торопливом пути, он в ссоре с медлительностью, он человек порывов, да к тому же, кстати, еще он человек из другой реальности, не имеющей отношения к этой, нынешней, общей, земной, он залетный гость, он звезда, и ведет его в жизни — дар, и пора его творчества — в будущем, а пока что, покуда жив он, ему важно то записать, что диктуется свыше ему, ну а все остальное не в счет, раз оставлен он на потом, для России и для поэзии, и поэтому, словно в жару, а нередко и словно в бреду, существует он здесь, это временно, все он знает давно про себя, — сколько лет проживет он? — известно: тридцать семь, как положено гению, — в том, что гений он, нет сомнений, в том, что избран он от рождения, что отмечен, он убежден, потому-то ему не до шуток только в творчестве, только в нем он хозяин себе, господин, властелин, и туда не допустит никого, посторонним вход воспрещен, и не думайте даже, что удастся проникнуть туда, в этом царстве он страж и ратник, никому туда нету ходу, там хранит он свою свободу, там поэзия, там его явь, — а реальность мирская, людская для того существует, чтобы, ненароком в нее ворвавшись, порезвиться, покуролесить, замутить стоячую воду, вверх тормашками перевернуть все приметы ее и знаки, все понятия и детали, раскрутить колесом роенье всех знакомых вокруг себя, оказаться в центре вниманья, стать для многих незаменимым, вызывать восхищенье, в трепет повергать, вызывать любовь, быть в движенье, в сплошном круженье, знать, что это самосожженье, но идти на это сознательно, — ключья нервов, шальная кровь.

Губанов был, это важно понимать, моим антиподом.

Но сразу же благодаря феноменальному, гибкому, с практической жилкой, кстати, в сочетании с удивительной способностью угадать, прямо в корень, самое нужное, для себя, в любой ситуации, будь он трезв или пьян, все равно, с метаморфозами всякими, ответвлениями потайными, зигзагами и ходами конем, чутью своему понял он, отчетливо понял, что мы с ним, по крайней мере некоторое, недолгое или длительное, поглядим, как сложится все, прикинем потом, если будет надобность шурупать мозгами,

время, должны быть рядом друг с другом, держаться, сдружившись, вместе, быть если и не какими-то там общающимися сосудами, это вряд ли получится, то, во всяком случае, в нашем, вернее, в губановском случае двумя, не одним, а двумя существующими на некоем отрезке земного времени, дружественными вполне, живущими в мире, в согласии относительном, так, для порядка, по причинам скорее политическим, чем людским, из приязни взаимной, независимыми, конечно, по природе своей, по устройству, по законам своим, державами, но скорее всего — мирами.

Был я в шестидесятых Губанову — необходим.

Видел во мне он тогда нечто такое, чего не было в нем самом.

В первый же день знакомства заявил, что считает меня гениальным, и все тут, поэтом.

Это мнение утвердилось в нем однажды и навсегда.

Всячески он старался меня, человека другого склада, характера, нрава, чем у него, бузотера, фаталиста и психопата, расположить к себе.

Повышенное внимание к моим давнишним стихам нередко переходило у него, человека чуткого, пронизательного порою, в настоящее понимание.

Был он предельно, так, что неловко бывало слушать шокирующие признания, с пьяных глаз в основном, с похмелья или сильного недопития, в состоянии малоприятном, прямо скажем, для человека и тем более для поэта, пребывающего в растерзанном и печально известном в столице, полной слухов и сплетен, виде, иногда откровенен со мною.

Случалось, что поверял он мне такие тайны, которые больше, в любых обстоятельствах, не открывал никому.

Подчеркивал неизменно свое уважение, личное, человеческое, ко мне.

Выделив, для себя, по собственным соображениям, по причинам внутренним, скрытым от людских любопытных глаз и вопросов, оставленных им без ответов, меня из всех прочих знакомых его и приятелей, он, таким образом, сам, без принуждения, решался на непростой для него, необходимый шаг.

Ведь при его, с истериками, с капризами, детской ревности ко всему достойному или же выдающемуся, великому, наконец, хорошему просто, что само по себе должно человека разумного радовать, везде и всегда, в искусстве, при его чрезвычайно высоким, давно устоявшемся мнении о себе самом, при его необузданности, чувствительности, подозрительности всегдашней, маниакальном преследовании только одной-единственной, этого хватит, цели: быть лучше всех в поэзии, — пришлось ему, бедному, сразу же, мгновенно сообразив, что он только так и может поступить, и другого выхода нет вообще для него, делить со мною, смилив себя, ценою невероятных для него, ревнивца, усилий, и буквально сжав зубы, вынужденно, а поэтому лучше по-дружески, и славу, и все, что к ней, по традиции, прилагается — друзей, знакомых, блаженное для него купание в слухах, в людской всеядной молве, нынешнее положение, на грядущее перспективы радужные, и так далее, вплоть, может быть, до бессмертия, — ведь в этом-то он, для себя,нисколько не сомневался, — а тут появился я, и, похоже, нет, несомненно, что дар мой куда крупнее, нежели дар его собственный, но виду, что понял он это навсегда, подавать не надо, следует проявить гибкость, побыть немного политиком, похитрить, обаять меня, очаровать, расположить к себе, добиться дружбы моей, кровь из носу, но добиться, только так, для того хотя бы, чтобы, тут же, на месте, усваивая идеи мои, бесчисленные тогда, в молодые года, впитывая немедленно жизненно важные, нужные для движения ввысь и вперед, к достижениям новым, творческие, целебные, светлые токи, и ему самому продержаться, как уж выйдет, сколько удастся, в этой жизни, а там посмотрим, — вот что, прежде всего, им двигало, вот что неудержимо, властно тянуло его ко мне, да плюс к тому и по возрасту мы, одноклассники все-таки, вполне подходили друг другу, так было проще дружить, но это и так понят-

но, самым же важным, издавна и до сей поры, остается тот непреложный факт, что дружба со мною нужна была Губанову прежде всего для того, чтобы выжило, выстояло его собственное, хаотичное, но по-своему сильное творчество.

Придется мне вам сказать, что о дружбе своей с Губановым в шестидесятых и далее говорю я подробно в книге «Время СМОГа» (важной и нужной, для меня и для многих моих современников, знать желающих о содружестве нашем былом, да побольше, да помасштабнее, так, чтоб чтение это было увлекательным и серьезным, а не просто штрихами, набросками, подмалевками, тем, о чем Толя Зверев порою говаривал: «Я не пишу картин, пишу я только эскизы», нет, читателю нужен простор, и разбег для собственных мыслей, и поэзия, и, конечно, целый рой историй, забавных и трагических, то есть всяких, все читателю интересно, потому-то, видать, ему по душе пришлась моя проза с неизменной полифонией, со смещением разных жанров, да не просто так, на авось, нет, в единстве таком есть синтез, есть дыхание, множество ритмов, есть присутствие тайны, пластика, с волшебством, с магическим светом, то ли проза, то ли стихи, то ли эпос, то ли былина, как заметил Саша Морозов, догадавшись о чем-то верном, о моей, наделавшей шуму небывалого, книге «Пир», пусть гадают все, кто желают, что за невидаль, что за диво все написанные за годы пребывания в Коктебеле, вдалеке от столицы, в затворничестве, в постоянных трудах, в одиночестве бесконечном, вещи мои), над которой ныне работаю.

Книга эта — большая и сложная.

Книга эта — проста и светла.

В ней — возможное и невозможное.

В ней — звезда, что когда-то взошла.

В ней вдосталь всяких событий, историй и приключений, которые молодому нынешнему читателю показаться могут вполне, допускаю, невероятными, но все это — сущая правда, и это — действительно было, поскольку жизнь моя бурная в минувшие трудные годы бывала и фантастической.

В этой книге большой живут совершенно разные люди, творческие в основном, и все они с именами, теперь и достаточно громкими, но немало в ней и людей колоритных просто, поскольку интересны такие люди, полагаю, и мне, и вам, и хороших людей, о которых приятно мне было рассказывать, потому что они заслуживают этого, согласитесь.

Богема шестидесятых и семидесятых была отдельной блаженной планетой в советской безумной действительности.

Многих, слишком уж многих из нее, нет уже на свете. Грустно. Да что же делать? Молчать? Грустить? Говорить?

Я еще жив — и я, пожалуй, один остался, такой вот, многое знающий о том, что было когда-то со всеми нами, в те дни, когда звездой пятипалой запечатаны были рты и залеплены были глаза линиями флагами красными, в дни, когда у стены кремлевской собирались вожди косопузы на парады и демонстрации, пели трубы оркестров славу монструозной протухшей мумии в Мавзолее, солдаты шли неизвестно куда, чтоб танками раздавить поскорее то, что не вписывалось упрямо в чужеродную всем и каждому, с пресловутыми лжескрижалями, большевистскую идеологию, в дни, когда были молоды мы, были молоды и отважны, чужды страхам, на грани, по лезвию бритвы острой или ножа преспокойно ходили, дышали той свободой, которой не было и в помине, той дивной свободой, о которой мечтали мы столь наивно и пылко, что позже обрели ее лишь в поэзии, лишь в искусстве, и это было достижением нашим главным, и потом никуда не сплыло, только стало действительно славным, — и силы при мне, слава Богу, и порох есть в пороховнице, один я теперь в состоянии написать наконец о былом.

Вот и пишу. Куда мне от работы своей деваться?
Панацея от бед — работа. И нельзя мне с ней расставаться.
Постепенно, вовсе не сразу, иногда параллельно, как темы, звучащие в музыке Баха,
вырастают книги мои.

Вырастают. Произрастают.
Их — читают. Все чаще — читают.
(Вот и ты на страницы взгляни!)
Их — все больше. Все лучше они.
Я-то знаю об этом, поверьте.
Мне виднее — в мирской круговерти.
Все я вижу — издалека.
Пусть судьба моя — нелегка.
Но — крылата моя душа.
Надо мною — семь звезд Ковша.
Предо мною — тернистый путь.
Постиженье эпохи. Суть.
Вырастают книги мои.
(Нити. Шлюзы. Узлы. Рои.
В яви. В памяти. На пороге.)
О былом. В том числе — и о СМОГе.

Может быть, книгу эту даже — подумать ведь только, неужели такое бывает? — издадут, и причем, что вовсе уж удивительно для меня, по причинам каким-нибудь нынешним, крайне важным и мне-то неведомым, по высоким соображениям, продиктованным чувствами добрыми к этим жгучим, колючим, пылким и пристрастным воспоминаниям, очень личностным, крайне искренним и оправданным верностью долгу, речи русской, дороге тряской по холмам, которые, кстати, были тоже когда-то людьми, существуют люди-холмы (или так, в переводе моем: есть особые люди среди нас, что встают, подобно холмам, и грядущее прозревают настоящего много лучше и отчетливей, чем былое), как сказал, холмом поднимаясь над Парижем, Аполлинер, во-время, а не когда-нибудь, неизвестно — когда, потом.

Все у нас может быть.

И поэтому я сейчас не стану особо вдаваться в подробности нашей с Губановым непростой многолетней дружбы.

Ведь задача моя теперешняя — только вкратце сказать о СМОГе.

Потому-то я и работаю.

Знаю себя и поэтому сразу же, прямо, замечу: вовсе не исключено, что я, человек, по мнению некоторых оглоедов современных, десятого сорта, из тех, что сейчас процветают на чужих костях и заслугах, не желая их замечать, потому что вмиг обнаружатся все ничтожество их и убожество непотребное, безобразное, беспросветное, просто мрак, за которым завистливый зрак, лживых слов бестолковый тон, бред без продыха, страшный сон, совершенно непредсказуемый, возьму вдруг да увлекусь — и вместо того, чтобы сделать, не забыв про строгий отбор, этаким четкий обзор интересных давнишних событий, о чем-нибудь да поведаю — о забавном ли, о трагичном ли, — как обычно, под настроение, по наитию, по чутью.

Все может быть в моей книге.

Как и в жизни. Как и в судьбе.

Ничего. Я привык. Работаю.

Как умею. Как получается.

Тот, чьим светом жив я, все видит — и добра мне, знаю, желает, и поэтому направляет, как и прежде, на верный путь.

Нить духовная в небе вьется, связь незримая остается в мире этом, где песнь поется, чтобы века высветлить суть.

...Но вернусь — в былое. Туда,
где вставала в ночи звезда
надо мной, где с нею светло
было в том, что вскоре пришло, —
в наважденье, в бреду сплошном,
в том, что длилось там, за окном,
где в аду крошечном, в раю,
выжил я — да так и стою,
в одиночестве, в мире гроз.
Все — надолго. И все — всерьез.

Итак, любезный читатель, на протяжении всей осени шестьдесят четвертого, и зимой, в декабре, метельном, студеном, и несколько позже, потом, в январе пришедшего, нового, с надеждами светлыми, года, мы с Губановым существовали в преддверии некоем смутном чего-то необычайного, которое вскоре должно было с нами произойти.

Мы это слишком уж остро чувствовали, настолько пронзительно, что другого просто быть не могло.

Мы ждали этого, ждали так искренне, так наивно и страстно, что чуду явиться вовремя никто бы не помешал.

Нужно было — только слово.

То, главное, что в начале.

То, жизнетворное, точное, из которого все потом неминуемо произойдет.

Некий мир будет создан. Живой.

И Губанов — нашел это слово.

Помню, как в январе шестьдесят пятого года, за день до моего дня рождения, который надеялся я провести у себя на родине, в родительском добром доме, с приобретенным заранее, назавтра, недолго ждать уже, билетом на поезд в кармане, с предвкушением праздничным скорого, если честно, то долгожданного, эх, успеть бы собраться, отъезда и, хотя и совсем небольшого и давно для меня привычного, но все-таки очень приятного и настраивавшего всегда на хороший лад, путешествия, ждал я друга в месте условленном, крайне заинтригованный его телефонным, таинственным, полусшепотом, сообщением о том, что сказано мне будет нечто неслыханно важное.

Средьзимний вечер, скорее гоголевский, волшебный, нежели заурадный средне-русский, без чародейства обходившийся преспокойно, был морозен и сдержанно-ясен.

Звездное, всемогущее, галактическое сияние уживалось в нем как-то запросто, без ломания, без обид, без намеков на чье-то явное, несомненное преимущество в чем-то важном для жизни, может быть, ощущение извечном времени и пространства в единстве их с человеческим бытием, в их родстве с мировой душой, да и мало ли с чем еще на земле породниться можно, если связано с речью все, что свершиться должно в грядущем, если слово всегда в начале и любви земной, и печали, вместе с музыкой неземной, что еще прозвучит весной, чтобы в сердце вмиг отозваться, чтобы в памяти вновь остаться, по возможности, навсегда, возвращаясь к нам сквозь года, — с мерцаньем отчасти похожих на желтые теплые соты столичных бесчисленных окон, пар, окутывавший озябшие на морозе лица прохожих, — с густыми клубами пара, вырывававшегося

из подсвеченного зева метрополитена, отдаленно напоминавшего то ли о греческой, с масками, котурнами и хитонами, с обязательным хором, трагедии, то ли о долгом строительстве египетских пирамид на московской, кряжистой, жилистой, неказистой, скудной, скупой, процеженной сквозь болота, лепленной в муках из глины, перетертой с песком, ко всему привычной, в карстовых трещинах, провалах и прорвах, почве.

Из глубины загадочной, из сердцевины вечера, словно из самых недр его, передо мной возникла коренастая, ладно сбитая фигура Лени Губанова.

Лицо его, несмотря на холод, матово-бледное, лишено было напрочь обычной тяжеловатой статичности, близкой к мраморной, может, застылости, — желваки тугие упруго перекатывались под кожей, лоб то весь покрывался изломанными, расползающимися морщинками, то, как будто его погладили, неожиданно распрямлялся, как бывало это всегда, когда Губанов действительно всерьез озабочен был чем-нибудь из ряда вон выходящим и поэтому волновался.

Его глаза, изумительные, серые, с голубизною, в самом деле верное зеркало его мятежной, греховной, как считали недобрые люди, но, по-моему, детской, чистой и, возможно, святой души, излучали особенный, теплый, плавно льющийся изнутри непрерывным потоком свет — свет предчувствия грандиозных, впереди назревавших событий, тайны, славы, любви, надежды, откровений, молитв, щедрот.

Он ринулся тут же ко мне — и сразу же, по-ребячески старательно выговаривая короткое, броское слово, сообщил, что нашел название сообщества нашего — СМОГ, и мы с ним вдвоем обязаны создать поскорее СМОГ, а это значит, что нынче же начинается что-то новое, отчаянное и праздничное, и пришла пора замечательная, и настало время и нам, ровесникам, единомышленникам, объединиться немедленно и по-настоящему, громко, всем заявить о себе.

Победно и взбудораженно, с прищуром лукавым, поглядывая на меня из-под старой своей, лохматой, измятой шапочки с опущенными ушами, едва прикрывавшей школьную, неровную, влажную челку, он расшифровал название.

И едва Губанов успел высказаться, едва он дух перевел, ожидая, что я скажу ему, как яотреагирую на свежее, с пылу с жару, интересное сообщение, — как вдруг, точно чертик пружинный, из темноты студеной, из-под земли, возможно, появился, нет, точнее, материализовался и подбежал к нам пышущий румянцем Володя Батшев, паренек энергичный, бывший в курсе всех московских событий, знавший все, что пишут другие, да и сам писавший стихи.

«Краснощекий Вовик», — сказал Кублановский в одном своем, характерном для той поры, позабытом стихотворении.

«Ваш сосед, краснощекий Вовик, в вас разрядит свой пистолет».

И я сразу же видел Батшева.

И сейчас его ясно вижу.

Похоже, что слишком уж темное утро его — интуитивно угадал в молодые годы и сумел это выразить Куб.

Для меня осталось загадкой: почему краснощекого Вовика можно было встретить везде, куда бы ты ни пришел, если только мероприятие или встреча имели хоть косвенное отношение к литературе.

Такая всеядность его настораживала, озадачивала.

Не хотелось думать, что это просто-напросто от избытка молодой, кипучей энергии, от жажды, вполне понятной, утолить которую можно только немедленным действием.

Вот и секунду назад, буквально, его, краснощекого, чертика или кого-то похлеще и пострашнее, вовсе не было с нами, но секунда прошла, и он стоял уже рядом и был, значит, вполне реален.

Чудеса и метаморфозы, видимо, лишь начинались.

Через тридцать четыре года, в разговоре долгом со мной, Вера Лашкова, известнейшая в нашей стране и прочих странах правозащитница, настоящая героиня жестокой былой эпохи, прояснила по-своему сжато и доходчиво, ситуацию и просветила меня, конкретно, по поводу Батшева.

— Бат работал на органы! — грустно, устало и просто сказала со вздохом Вера. — Все мы это теперь знаем. Доказательств этому — масса. Можешь, если понадобится, спросить у Володи Буковского, он из Англии подтвердит. Вот такой оказался Батшев. Они его и во ВГИК устроили. И потом — содействовали кое в чем. Видимо, без осложнений хотелось Бату пожить. Не стану сейчас рассказывать, как и где он себя соответствующим образом вел, этот Бат, что там понатворил, в чем он, такой-сякой, выше своей головы предательской, виноват. Мы-то, действительно кое-что повидавшие и пережившие, все это, абсолютно все, хорошо знаем. Ну и что с ним делать теперь? Не ворошить же прошлое! Что теперь с него взять, с Бата? Да и противно все это... И сам он — слишком противный. Когда уезжать собирался в Германию, все выискивал у себя еврейскую кровь. Да о каких-то заслугах, собственных, правозащитных, все твердил, истерично кричал. Какие такие заслуги? Предатель. Гнида. Стукач. С органами сотрудничал — и все притворялся, все играл, подлец, в «своего». А люди из-за него — страдали. Мерзавец. Иуда. Пусть живет себе там, за кордоном, в Германии. Он везде пристроится. Пусть существует — с таким пятном несмываемым, не на роже — на биографии. Не обличать же его принародно. Таким вот гадом и ничтожеством оказался этот Вовик, Бат. Знай об этом...

Но тогда, в шестьдесят пятом, ничего я об этом не знал.

И только чутье мое, еще с первой же встречи с Батшевым, бурной прошедшей осенью, говорило мне то и дело: нехороший он человек.

И зачем я терпел его, краснощекого Вовика, рядом?

И зачем я его подальше не послал? Зачем не прогнал?

Нет ответа на эти вопросы. Остаются они открытыми.

На авось понадеялся, что ли?

Ничего, мол, глядишь — обойдется?

На авось да небось уж точно. Да на треть, на как-нибудь.

И пристал к нам Бат, прикипел.

Соловьем безголосым запел.

Разгулялся. Заговорил.

И такого понатворил...

Но зачем теперь приводить примеры из жизни химеры?

И что теперь с него взять, как верно сказала Вера!..

Мы отправились, до сих пор непонятно — зачем, домой к Губанову, где могли помешать нам его родители, где мало ли что могло неожиданно произойти, поскольку было ранее, не единожды, множество раз, отправились не ко мне, в отдельную тихую комнату на Автозаводской, где вдосталь могли бы наговориться, но именно к Лене, в большую родительскую квартиру, уже не вдвоем, а втроем.

И там, на крохотной кухонке, в этом подобии временного, по возможностям нынешним, стана, отогревшись за свежим чайком и за прихваченным, в спешке большой, с со-

бой, по дороге сюда, по традиции давней, дешевым крепленным вином, Губанов развил свою идею, причем, хлебнув, потихоньку, с оглядкой понятной на домашние обстоятельства, полагавшуюся ему порцию отвратительного, с градусами немалыми, то есть результативного, популярнейшего среди всех граждан советских, напитка, вдохновлялся он, захмелев, с каждой секундой все больше.

Говорю я — «свою идею», потому что Леня уже считал ее целиком своей, губановской, собственной, тем более — он, сам, лично, придумал волшебное слово, придумал такое название, а это уже так много!

Поглядев на него, поразмыслив, я решил его не осаживать, не сбивать его с толку, на взлете, разумными коррективами, чтобы вспомнил он, что к чему, да и просто не огорчать.

Пусть, коли очень хочет, — так он теперь считает.

Что там и говорить, идея была хороша.

Чьей бы она ни являлась — губановской, кровной, личной, как он уже считал, или же, что справедливей и куда точнее, — моею.

У нее уже было имя.

И за именем этим было — так хотелось нам верить — будущее.

Так и виделось — вот оно, радостное, где-то рядом уже встает.

Но имея уже за плечами некоторый, отдающий ранней горечью опыт, когда хрущевский разгром «формалистов», мутной волной прокатившись по всей стране, основательно и болезненно задел и всласть потрепал нашу дружную группу поэтов молодых, достаточно ярких и талантливых, на Украине, в Кривом Роге, где я тогда жил, и пришлось навидаться всякого, я высказал предположение, что готовыми надо быть ко всему вообще, даже к худшему.

Но губановский оптимизм был не просто велик, а безмерен, и грядущее, самое светлое, рисовалось ему, немедленно волю давшему воображению, в звонких, радужных, чистых тонах, эмоции, в нем бурлившие, били уже через край, — и я, изумившись такому громокипящему кубку чувств, настроений и грез в удалой его голове и в душе его лебединой, поддержал своего друга.

Батшев же преобразился на глазах буквально у нас: его всегдашний румянец стал еще обильнее, гуще, волосы зашевелились на голове, как живые, глаза мутновато, с неясным туманом в них, заблестели, и видно было, что он воспринял идею СМОГа как дарованный свыше шанс.

Его деловитость чудовищная и практичность необъяснимая мобилизованы были тут же, прямо на месте, в голосе зазвучали уверенные, проверенные, со стальным холодком прицельным, комиссарские жесткие нотки, в воздухе замелькали появившиеся ниоткуда, как у фокусника, блокнот и заточенный карандаш, и понял я, что от СМОГа теперь его не оторвать.

Вскоре все мы поймем, сколько ненужной путаницы и невыносимой сумятицы внесет в движение наше этот, вполне вероятно, не лишенный способностей некоторых, но в поэзии совершенно бездарный, какой-то очень уж скользкий, будто намыленный, слишком себе на уме, изворотливый, лживый, с подлянкой, заготовленной, видимо, впрок, так, на всякий пожарный случай, жаждущий лишь известности, любой ценой, поскорее, да что там тянуть, немедленно, подавайте ее сюда, революционизированный, сознательно, постоянно не на те, не на нужные рельсы, не туда, не в нужную сторону, сворачивающий с прямого, правильного пути, темноватым так и оставшийся для меня, с давних пор, доселе, молодой, с вихрами немых, неизменно розовощекий, человек, скорее — фантом.

А Губанов всем существом своим жил новой, чудесной идеей, простой, как и все хорошее, и вместе с тем необычной.

Он уверовал в СМОГ единожды в день свой звездный — и навсегда.

Он и потом всерьез, близко к сердцу, обычно с болью, что бывало слишком уж часто, или с чисто мальчишеской радостью, что бывало слишком уж редко, но бывало порой, принимал все, что прочно или не очень, но каким-то образом связано с его, губановским, детищем, упорно, неумоимо расширял круг своих приверженцев, соратников, как наивно, в добрую сказку веря, считал он, единомышленников.

Не случаен и вдохновенно придуманный им «изумизм», от слова, вполне для Губанова органичного, «изумлять», — новейшее, вслед за смогизмом, течение поэтическое, которое он потом всячески пропагандировал, отстаивал, утверждал, вложив за чем-то в него весь свой молодой задор, — он, поэт, изумлялся сам, неустанно, давно, и действительно изумлял всегда окружающих, столько в нем было таланта, игры и пылкого, ищущего, недюжинного ума.

Время наглядно в дальнейшем, на примере жизней и судеб наших, бесцеремонно, сознательно искалеченных, показало, какой изощренности в планомерном уничтожении самых светлых, еще молодых начинаний может достичь система тоталитарно-механическая, изуверская, так разросшаяся, развернувшаяся, основательно заматеревшая в брежневский, долгосрочный, орденосный период.

Выживший, уцелевший, смею теперь утверждать, что подвижничество, горение, самоотверженность, жертвенность лучших поэтов, прозаиков, художников нашего круга, нашего поколения поистине беспримерны.

В Змеином году, шестьдесят пятом, еще и смогистском, я учился на искусствоведческом отделении исторического факультета нашего славного, с историей и с традициями достойными, МГУ, вместе, в одной группе с Кублановским, тогда еще худеньким, относительно, разумеется, поскольку вес набирал он пропорционально росту, и вскоре был в теле и в деле, ах, что вы, да неужели, мальчоночкой рыбинским, вроде бы, недавним, но слишком стремительно и вполне успешно, похоже, превращавшимся в москвича, с набрякшими под глазами лиловыми полукружиями, с чувствительным к выгодам носом, еще не сдвинутым набок подмосковными хулиганами, с Михаликом Соколовым, человеком ученым, задумчивым, но и непредсказуемым, способным порой на такие выходки и поступки, что диву давались знакомые и вздыхали грустно друзья, с Колей Мишиным, неунывающим русским авантюристом, из народа, из самой глубинки, смекалистым, не без лукавинки, не без соринки в глазу, но все же весьма симпатичным искателем приключений, человеком-театром будущим, как и предрек ему однажды, под настроение, режиссер Федерико Феллини, во времена смогистские хорошим, верным товарищем, а это уже немало, согласитесь, в жизни столичной, где всякой твари по паре, и каждая тварь в ударе, и дни проходят в угаре, но вспомнить пора о даре, а дар у Мишина был, человеческий, театральный.

Первый семестр закончился.

Сдана была зимняя сессия.

Начались наконец долгожданные студенческие каникулы.

Я уехал к себе на родину — проведать своих родителей, повидать друзей-земляков.

Потом, по своей тогдашней, непреодолимой склонности к поездкам в самые разные, непредвиденные места в любое время текущего, бегущего или идущего, это уж как для кого, для меня же всегда удивительного, по количеству всяких событий, в том числе и знаковых, года, по наитию, как обычно, путешествовал я по зимнему, открывающемуся по-новому, и поэтому интересному не вдвойне, а втройне, прекрасному, для души дорогому, Крыму.

Двигался я, приехав поначалу на южный берег и вдоволь там набродившись, в сторону Коктебеля, бывшего в прежние годы для всех нас, тогда молодых романтиков, островком духовности и свободы, с зажженным еще Волошиным, бережно оберегаемым старой интеллигенцией и нами, ее наследниками, негаснущим огоньком взаимного понимания и творческого осмысления прекрасного, но и яростного, как сказано было, мира.

В метель, на старой дороге между Алуштой, оставшейся позади, среди хлопьев снежных, вместе с морем своим, сиреневым и туманным, и Судаком, в завихрениях снеговых находившимся впереди, за горами, за перевалами, наш маленький, как букашка, с булавочную головку, по сравнению с современными, зелененький, скромный, без права на ранг повыше, измученный бездорожьем, ремонтами, старостью, что не в радость ему была, как и всем на свете, автобус, ведомый похмельным шофером, забывшим заправиться вовремя бензином, поехал в пропасть (причем в те секунды, когда, находясь, как часто бывало, в очередном озарении, я записывал прямо набело в измятом дорожном блокноте мистические действительно фрагменты своей «Комедии», вещи большой и сложной, над которой работал тогда, — и позже, заметить следует, как это, на протяжении долгих лет, постоянно случается у меня, все, конечно, сбылось), но удержался, чудом, на одном колесе, зависнув над бездной внизу, под нами, дверь удалось открыть, все пассажиры успели потихоньку наружу выбраться, в снежное, оголтелое, беспросветное завихрение, в натуральную глухомань, в пограничное состояние между только что миновавшей, отступившей, на шаг, назад, отшатнувшейся вдруг от всех страшной гибелью и неожиданным, несомненно, чудесным спасением, в какую-то странную область между небом, подразумеваемым где-то над нами, вверху, и землей, немного пониже, но тоже на высоте, немалой, поди разберись, какова она, высота, и до чего сейчас ближе, до неба, или же до моря, которое было в стороне, где-то справа от нас, мы попали куда-то за грань очевидного, в зазеркалье, за черту едва не шагнули, за которой нас гибель ждала, но, по счастью, не дождалась, оказались мы в сердцевине безусловного наваждения, где не видно ни зги, кроме рыхлого, роящегося, кружащегося, хлещущего по глазам, сплошного, кромешного снега, где на многие километры вокруг, зови не зови, кричи не кричи, никто не услышит, и не надейся, на все четыре невидимых в метели стороны света, нет никого, никогошеньки, никаких решительно признаков человеческого жилья, где стояли мы все, пассажиры, поплотнее сбившись друг к другу, где-то совсем высоко, не в заоблачье ли, кто знает, кто подскажет, кто уточнит, кто утешит, никто, никого, и некому нас успокаивать, некому нас утешать, и согреть нас некому, в холоде, посреди морозной зимы, посреди озверевшей метели, где стояли мы все, растерянной, потрясенной, озябшей стайкой, и чего-то ждали, все ждали, — но чего? — наверное, помощи, — да, конечно же, именно помощи, — и она, уже позже, потом, все-таки к нам пришла, появилась она в итоге, — но пока что мы были — одни, здесь, в горах, и гудела метель, и автобус нелепо свисал над безмолвной слепую бездной, почему-то все же не падая вниз, удерживаясь почему-то на дороге, на скользком зигзаге, колесом одним прикипев, с каждой минутой буквально примагничиваясь, прирастая к дорожному белому столбику, не сломавшемуся почему-то под нешуточной тяжестью наискось накренившегося автобуса, уцелевшему, этим и спасшему нас, — и само ощущение ухода, вполне возможного, в никуда, а потом внезапной отмены ухода этого, возвращения нас в реальность, в жизнь, да, в жизнь, без конца и без края, как, по-блоковски, и весна, вот сюда, в метель, на дорогу, пусть, чего там гадать понапрасну, оказались мы вроде бы здесь и нигде, но вот где же, не хочется думать, все же — где-то, уж точно — где-то, и не просто где-то, расплывчато и условно, а именно здесь, — доходило до нас постепенно, замедленно, вовсе не сразу, а все же оно, ощущение пре-

бывания нашего здесь, присутствия нашего в мире, здесь, в горах, посреди метели, говорило о том, что жизнь продолжается, дальше движется, и надо теперь что-то делать, надо действовать, выбираться отсюда как можно скорее, надо сызнова всем выживать, — и я воспринял тогда происшествие это дорожное как первый тревожный знак, подумав о том, как же дальше, в скором грядущем, сложится непростая, видать, судьба всей нашей пишущей братии, — и вглядывался в метель, вслушивался в метель, — и вначале просто почуял, а потом уже различил, — там, вдали, в глубине бесконечного, беспросветного, смутного снега, — еле слышный, как будто закрытый метельной сплошной пеленой, но все равно, это ясно, пробивающийся сквозь нее, по чуть-чуть, постепенно, все-таки, вопреки завыванию ветра, ледящего душу, швыряющего снежные комья в лицо, за ворот, прямо в глаза, усиливающийся и приближающийся к нам, сюда, в круговерт разгулявшуюся снеговую, звук работающих, гудящих на подъеме, на поворотах, на дорожных петлях, моторов колонны грузовиков.

Звук — воплотился в реальные грузовики, шоферы которых и помогли нам потихоньку отсюда выбраться.

Знак — запомнился навсегда.

В молодости такие мгновения взрывоопасные пронзительного предвидения, зрения наперед, глубокого проникновения сквозь временные пласты, смущали меня и тревожили, но позже я к ним привык.

Замечу, без всяких претензий на ненужное лидерство в мистике: если не все, то многое из того, что в различные годы писали в своих стихах я, Губанов — и даже, в молодости, изредка, интуитивно, пусть, не беда, и наивно, а вернее, покуда он самолично свою поэтику не разрушил, незнамо зачем, став трезвей и скучней, Кублановский, — представьте себе, сбывалось и сбывается по сей день.

В случае с Леней Губановым — статья вообще особая. Его, доселе не изданные толком, в полном объеме, вещи семидесятых читать просто страшно — в них отчетливо и подробно, беспощадно, печально, пророчески сказано все, что сейчас, посреди междувременья нынешнего, в России его, происходит.

Да и мои стихи почитать вам стоит внимательнее. Ну хотя бы мою «Комедию», фрагмент которой как раз и писал я там, среди метели, над разверстою бездной внизу, на зимней дороге в горах, в Крыму, в шестьдесят пятом. А сколько еще неожиданностей предстоит вам когда-нибудь обнаружить в моих стихах, за долгие, трудные годы работы моей со словом!

Такова, скажу я с прищуром, улыбнувшись, природа творчества.

Вернувшись в Москву, я увидел, что СМОГ уже существует, да не просто как сносное, может быть, для кого-то вполне подходящее, только не для меня, какое-нибудь скороспелое, очередное столичное, в числе подобных ему, скучных, литобъединение, как и прочие, скромно и вяло, но с таким грандиозным подъемом, что мне, человеку вовсе не стадному, обособленному, в творчестве, да и в общении, от всего и от всех вокруг, не оставалось, читатель мой, ничего, ничегошеньки более, как немедленно, с ходу, сразу же, прямо с поезда, можно сказать, не успев отдышаться с дороги и прийти хоть немного в себя, прямо с первого самого дня моего пребывания в столице зимней, снежной, присоединиться к моим удалым товарищам.

Как всегда получилось, замечу: покуда я, автор какой-нибудь хорошей, действительно стоящей, новаторской, свежей идеи, основоположник чего-нибудь особого, небывалого, ранее даже нередко и вовсе непредставимого, был где-нибудь в отъезде, отсутствовал, по причинам совершенно различным, в Москве, мои приятели времени

зря никогда не теряли — они собирались, они действовали, как правило, искажая эти мои светлые, первоначальные, выстраданные идеи, по-своему их зачем-то быстро переиначивая, и все, что могло их сдерживать, было для них трин-трава, море им было, видимо, действительно по колено, главным ведь было для них поскорее самим утвердиться в чем-нибудь, представлявшем для них живой интерес, не глобальный, как мною задумывалось, а сиюминутный, сегодняшний, торопливый, скомканный, скорый, и важным для них оказывалось не творчество, к сожалению, а это кипение, деятельность, даже, может быть, имитация таковой, уж во всяком случае, знаю точно, у большинства, золотое-то меньшинство, ну, допустим, тот же Губанов, да еще два-три человека, пытались порой вспоминать и о творчестве, а не только вот об этой идиотичной деятельности, уже социальной какой-то, с душком, с запашком революций, бунтов, мятежей и гражданских войн, общественной, а не личной, но их затирали, сознательно, сбивали с толку, нарочно, чтобы они, как и все, были в стае, были как все, среди всех, пусть и в роли главных, и они уходили в это целиком, и сживались со стаей, хоть потом и нередко спохватывались, но последствия стадности — сказывались, и терялось попусту время золотое, а стая — шумела, кучковалась, митинговала, стая действовала, по-своему, то есть делала вид, что она — тоже творческая, тоже пишущая и рисующая, талантливая, но хотелось-то ей одного — любой ценою — известности, разрывало ее от желания быть у всех на виду, чтобы все говорили об этой стае, — но, конечно, она ошибалась: говорили отнюдь не о ней, а о нас немногих, действительно одаренных и преданных творчеству, молодых, но серьезных людях.

Приходилось и мне — быть в стае.

Иногда. Не скажу, что мне нравилось показное кипение это. Нет. Срабатывал мой всегдашний, бесконечный идеализм.

Я наивно верил в товарищей.

Все казались они — друзьями.

Дружба! В пушкинском понимании драгоценного этого слова. Это было усвоено мною с детства. В это я твердо верил. Дружба! Радость общения! В этом смысл всегда я видел большой.

Уже вскоре, по мере взросления, стал я все-таки понимать, что не все, далеко не все, что мерещилось мне прекрасным, представлялось радужным, светлым, отвечает моим представлениям о товариществе, о дружбе.

Но общаться — вынужден был.

Только чаще, причем охотно, замыкался в себе я. Работал.

Ну а стая — бурлила. Действовала.

Был я в ней хоть и творческим лидером, так считалось, но — белой вороной.

Впрочем, как и везде. Такая, как давно я понял, планида.

Все, конечно, к лучшему. Был я — неизменно — самим собою.

Это — прежде всего. И в этом — был я весь. И поныне — есть.

А в Москве — бушевали страсти.

А в Москве — такое творилось, что названия этому диву и теперь я не подберу.

За страстями — будут напасти.

Но пока что — воля дарилась всем и каждому. О покое — вспомним как-нибудь поутру.

Своеобразный штаб СМОГа на первых порах размещался отнюдь не в подвале каком-нибудь, не в захудалой мастерской живописца подпольного, не на даче чьей-нибудь, временно пустующей, подмосковной, но прямо в квартире Губанова.

Это был уже не кочевой, наподобие тех, которые доселе поэт устраивал, предпочитающий быту обжитому весьма свободное передвижение в пространстве столичном, временный стан, для передышки, для отдыха, перед новым рывком куда-то, а куда же — и сам он толком не знал, — но — прибежище мыслящих вольнодумцев, идейместилище, фронтовой или, может, космический, полемический, поэтический, фантастический просто центр.

Сигаретный всеобщий дым клубящимися волокнами, седыми столбами, кольцами сквозными, зыбкими полосами поднимался, и вкривь, и вкось, к потолку и сгушался там в пелену сплошного тумана.

Смог, и только.

Внимание: СМОГ!

Ежеминутно, громко, наподобье сирены военной, так, что стены дрожали и стекла, оголтело звонил телефон.

Снимали трубку, бросали в нее боевое, призывное:

— Старик, давай приезжай!

Или резвой скороговоркой:

— Ноги в руки — и дуй сюда!

Или резко и коротко:

— Ждем!

Потом с размаху бросали трубку на рычажки.

Но опять раздавался звонок.

И опять кого-нибудь звали.

И еще, и еще, непрерывно:

— Приезжай!

— Приезжай!

— Приезжай!..

В трех комнатах оккупированной неведомо кем и зачем губановской, ранее тихой, родительской, так справедливее, обычной советской квартиры не протолкнуться было от каких-то совсем незнакомых, почему-то везде расхаживавших, где попало сидевших, всюду стоявших, жестикулировавших, кричавших, ругавшихся, споривших, вразной говоривших людей.

Глаза, у всех разом, горели.

Щеки у многих пылали.

У некоторых — от волнения.

У некоторых — от вина, а то и от водки, принятых для храбрости — как фронтовые, положенные солдату, как водится, перед боем, законные двести грамм.

С той только, впрочем, разницей, что куплены эти граммы в гастрономе были ближайшем, в винном отделе, на скудные деньги, гроши буквально, собранные с трудом.

Но для дела — пожалуй, надо!

И вот — багровели щеки.

И вот — горели глаза.

И храбрости прибавлялось.

И жить веселей становилось.

Тем более здесь затевалось такое, чего никто никогда отродясь не видывал.

То-то глазам и щекам храбрецов повод был — разгораться! Затем ведь сюда и пришли.

А некоторые — помалкивали.

И лица были у них, замечал я, достаточно бледными.

Видно, чего-то все-таки побаивались они.

Чего же они опасались?

Ну, допустим, вторженья нежданного в квартиру — нарядов милиции.

Или, может, присутствия здесь вездесущих агентов с Лубянки.

Опасаться того и другого — это право имели они.

Боялись они и третьего: реакции незамедлительной на всю эту свистопляску после рабочего дня возвратившихся в сущий ад губановских бедных родителей.

Побаивались они всего вообще на свете.

Но временами спохватывались — и тоже храбрились, для виду.

Выговориться хотелось — всем сразу, теперь дорвавшись до этого выговариванья, выкрикиванья нестройного, всеобщего, дикого шума, повального, без передышки, без пауз, гвалта и гама, — и нестройный хор голосов, который назвать бы следовало не хором, а просто ревом, сотрясал унылые стены в скромненьких блеклых обоях, отзывался в оконных стеклах, вылетал в коридор, в прихожую, сквозь открытые двери — на кухню, вырывался на улицу, в форточки, завивался тугими спиралями, облаками, тучами, длился, и не думая затихать.

Прибывающая сюда, в говорение и роение, поднимавшие настроение, отовсюду, со всех концов переполненной странными слухами о каком-то чуде, свершившемся на глазах у всех, очумевшей от нежданного дива, столицы, слишком пестрая, шустрая публика, шваль хмельная, дырка от бублика, кто с бутылкой, кто в поисках рублика на бутылку, шпана, в основном, что-то пишущая, рисующая, больше пьющая или блефующая, непременно, кровь из носу, тут же, будь любезен, вынь да положь, поделись по-братски, займи до утра, желала общения.

Вело ее в эту квартиру, благопристойную, чистенькую, на глазах уже захламлявшуюся, превращавшуюся неизвестно во что, никому не понять, и понимать не надо, в какую-то чушь собачью, в свалку, в клоаку, в прорву, клубящуюся туманом, ядовитым, всеядным дымом, смогом, конечно же, смогом, прежде всего — любопытство.

Лишь некоторые, немногие, знали, зачем они — здесь.

Возбужденные, истеричные, у некоторых, монологи сменялись, незнамо зачем, страннейшими диалогами, вспыхивали, как спички, разгораясь кострами, споры.

Доходило до кулаков.

Но таких героев старались успокоить как можно скорее. Срабатывала установка: ребята, мы заняты делом!

А поэтому — лучше без драк.

Дверь квартиры опять раскрывалась, и в прихожую шумно вваливались новые посетители — молодые поэты, гурьбой, и прозаики, со своими, как считали они, превосходными, но не изданными, писаниями, у кого — в толстой папке с тесемками, у кого — просто в общей тетради.

И откуда было в Москве столько пишущей молодежи? Художники появлялись шеренгами целыми, строем, наподобие марширующих на плацу военном солдат, под командой своих офицеров, то есть их основных заводил, со своими работами, новыми или старыми, все равно, все едино теперь, под мышкой, преимущественно с удобной для ее переноски графикой, а нередко, кто побойчее, и с холстами весьма внушительных, великаньих прямо размеров.

Шло обсуждение плана действий. На первое время. На обозримое будущее. На потом. И надолго — вперед.

Атмосфера — предопределенности решительного, по-бойцовски, по-борцовски, смелого шага за порог пусть и вроде большой, для столицы, с ее теснотой, с коммунальной структурой, квартиры, да все-таки тесноватой для всех, собравшихся здесь, пришедших на зов, на клич, на звук волшебного слова, сюда, в скопление страстей, кипящих вовсю, в орду, где трубы трубят поход, где кони копытами бьют, где знамена уже поднимаются над косматыми головами, чтобы реять в небе туманном над полями грядущих сражений, — туда, на простор, где всех услышали бы в одночасье, как ни крути, ни верти, как ни пытайся отбрыкиваться от единства такого стадного, к чему-то все же обязывала.

Дом губановский находился, как уже говорил я выше, в районе метро, всем известного в столице, «Аэропорт».

Отыскать его всем желающим было совсем несложно.

Губановские родители отсутствовали, находились, как положено людям советским, уважаемым, на работе: отец — на своем заводе, где занимал он, кажется, довольно высокую должность, а мать — в ОВИРе своем, где служила, в немалом чине.

Бабку собственную Губанов самолично запер в кладовке — чтоб сидела там потихоньку, чтоб шуметь никому не мешала.

Из-за двери кладовки, запертой на ключ, раздавались вначале бабкины вопли, потом — стоны, а позже — лишь вздохи.

Варварство, безусловно. И полнейшее безобразие.

Но Леня себя ощущал хозяином положения.

А здесь он бывал и жестоким.

К сожалению, скажем так.

Потому что когда проходил период очередной, не в меру буйный, блажной, во время которого что-то вело его и несло куда-то, зачем-то, никто не знал, куда и зачем, и он был тогда одержимым состоянием своим, или, может, идеей очередной, или чем-нибудь, всем не известным, взлет сплошной или нерв сплошной, неразрывные у него, слишком связанные друг с другом, чтобы их разделять пытаться, нет, куда там, никто не мог усмирить его, успокоить, образумить, он был как взрыв неизбежный, порыв, прорыв за какую-то грань, ему, видно, ведомую одному, — ну так вот, потом, отойдя от безумья, от наважденья, спохватившись, всегда с запозданием, на свой, разумеется, лад, он, как умел, замаливал грехи свои перед людьми, и прежде всего — перед близкими.

Хорошо, что его родители, хотя бы на первых порах, не знали того, что творилось в их благопристойной квартире.

Вскоре они, увы, всякого навидались.

Всякого — но не здесь.

В жилище своем законном сборищ разных они больше не допускали.

А пока что — сюда стекались, отовсюду, людские потоки.

Это была — ставка. Совсе не генеральская. И не маршальская. Не стоит мелочиться. Бери повыше.

Верховодил здесь — главнокомандующий.

Леня, в стареньком свитере, с взъерошенными волосами, собранный в сгусток, в комок, пружинистый и ершистый, вдохновенно, со знанием дела, дирижировал странным сборищем, оттачивая свое умение всех заводить, настраивать на поступки.

Губанов был прирожденным лидером. И хорошим, видел я, организатором.

Нет, все-таки — заводилой.

Но и этих его способностей оказалось вполне достаточно, чтобы множество разных людей, на годы, на десятилетия, именно «завести».

Он увлекал за собой всех, проходящих к нам, на огонек, на шум, словно волшебное слово какое-то издавна знал.

Через минуту-другую новичок-неофит осваивался и включался, вместе со всеми, в общий, всех вовлекающий, ритм.

Этот ритм, скорее всего, был каким-то долгим, всеобщим, нескончаемым, видимо, трансом.

В него входили, как будто ныряли в него с головой.

Он завладевал людьми.

Он был — условием неким общения непрерывного.

И что совсем удивительно, никого он тогда не изматывал. Наоборот, вливал энергию действия в каждого.

Художники разномастные приходили и приходили, приносили и приносили свои холсты и картоны, большущие папки с рисунками, тащили свои запретные, авангардные произведения, иногда через всю Москву, только бы показать их нам, героям-смогистам, только бы знать, что мы их непременно когда-нибудь выставим.

И выставляли ведь эти отчаянные картинки!

И зрителям неискушенным они почему-то нравились.

И авторы удивленных выставленных работ завязывали со зрителями, становившимися нередко поклонниками художников, знакомства, порою полезные, нужные, деловые, и даже, что было кстати, продавали свои работы, живопись или графику, в зависимости от желаний новоявленных покупателей, а не только, в подпитии будущи, от щедрот своих, от души, само собою, широкой, из симпатии к людям хорошим, из любви к ним, под настроение, просто дарили их всем, кто, в полном восторге от увиденных въявь шедевров, на похвалы не скупилась и, волею судеб наверное, находились вовремя рядом.

Поэты, сменяя друг друга, читали, без перерывов, без передышки малейшей, и читали свои стихи.

Кто читал — с выражением должным, по-актерски, кто — завывал, кто — пел, кто — бубнил невнятно что-то себе под нос, а кто и мямлил, смущаясь, бесконечные, как и сама бесконечность, как знак бесконечности, без начала и без конца, обозначившийся над ними перевернутою от ужаса перед этим повальным чтением, навзничь грохнувшейся восьмеркой, стихи, стихи и стихи, рифмованные в основном, хотя среди них попадались и редкие в ту звучащую голосами различными пору орфическую верлибры.

Тут же, прямо на месте, все принесенное нам, прочитанное рассматривалось, придирчиво, тщательно, без поблажек, слушалось, обсуждалось.

Ни с кем из пришедших здесь особо не церемонились.

В выражениях, ежели что не понравилось, не стеснялись.

Но говорить старались — честно, по справедливости.

Мнение выражали — все-таки обоснованное.

Может быть, кто-нибудь из разгромленных — обижался.

Но это ведь сказано было не просто так, лишь бы что-то в ситуации данной сказать. Если кому-то из прорвы стихотворцев и доставалось на орехи — так поделом.

Хвалили — тоже за дело, не для красного вовсе словца.

Значит, было за что хвалить.

В общем, как говорится в нашем уникальном народе, головы у всех безотказно работали.

Постепенно-то постепенно, только счет ведь шел не на дни, время дорого было нам, дорог был каждый час, буквально, даже больше, минута каждая, нет, пожалуй, даже секунда, постепенность была условной, и поэтому очень скоро, в быстром темпе, тогда выяснялось — кто есть кто, что он, собственно, делает, что он пишет и что рисует — и какова, на поверку, его продукции личной подлинная цена.

Так уж, надо заметить вкратце, было раньше заведено.

Хочешь узнать немедленно прямое, строгое мнение о том, что принес ты к нам — вот оно, получай.

Будь любезен, внимательно выслушай.

И делай потом уже выводы: наш ты, парень столичный, молодой стихотворец с портфелем, или же вовсе не наш.

А не хочешь сейчас услышать, что о тебе, сочинителе, серьезные люди думают, — и не надо, иди себе с миром туда, откуда пришел, там и гордыню свою, подальше от нас, проявляй.

Все вроде бы понимали, что все мы делаем правильно.

Так уж тогда получалось, что каждый осознавал себя не просто — гостем случайным, не просто — чьим-то знакомым, но прежде всего — участником общего, важного дела. Звеном единой цепи.

Некоторые герои за честь для себя почитали — оказаться в нашем содружестве.

Кое-кто из услышавших звон и узнавших точно, где он, во всеоружии, то есть с образцами созданий своих, поэтических, живописных, лишь бы нам показать лицом свой товар, вот он, здесь он, пожалуйста, посмотрите, послушайте нас, рассудите, скажите слово золотое, мы все пойдем, с боем сюда пробивался.

Все вместе, все заодно!

Как прекрасно и как наивно! — думаю я сейчас.

Но радость-то несомненная общения полноценного была в ту зимнюю пору, когда могли мы и гору свернуть с пути своего, и в небо взлететь, при надобности, и к звездам при случае ринуться, действительно налицо.

И при всех досадных накладках, заковырках и оговорках дело славное наше на месте никогда, ни на миг, не стояло.

Все мы были — в движении. В действии.

Решали, где и когда надо нам выступать.

Предложений таких и возможностей было — хоть отбавляй. То в какие-нибудь институты зовут, а потом — в общежития институтов этих, где всем находиться куда приятнее, где, в совсем другой обстановке, не казенной, скорее домашней, мы читали студентам стихи, говорили с ними часами, выпивали, изредка спорили, пели песни с ними, взволнованными душевными разговорами, под гитару, которая тут же у кого-нибудь находилась, и в набитую до отказа молодежью тесную комнату свежий ветер врывается с улицы в приоткрытую кем-то форточку, и на улицу вырываются голоса молодые наши, и не думая затихать даже там, извне, вдалеке, на морозных, зимних просторах;

то — на все эти многочисленные тогдашние, популярные, московские, вот уж выдумка чья-то, литобъединения, где мне, например, никогда не нравилось находиться, а другие смогисты, кстати, почему-то охотно бывали;

то в мастерскую, подвальную, как вариант — чердачную, к очередному художнику, левому, или скульптору;

то просто к кому-нибудь в квартиру, где собираются любители современной, полузапретной поэзии;

то — в основном в этих случаях — звали меня с Губановым в салоны литературные столичные, не для всех, ну что вы, только для избранных, к богемной, элитной публике, к этим людям с большим самомнением, со снобизмом, порой доморощенным, которых мы с Леней сразу же покорили, — ну и так далее.

Мало ли нам куда еще можно было пойти!

Некоторые, помельче, из желания быть услышанными, а может быть, даже и понятыми своей страной, как сказал футурист и трибун, шли на площадь, к памятнику Маяковскому, поскольку в советские, давние, реликтовые времена было это, представьте, принято, и там, у ног футуриста и трибуна, под башмаком у него, под двумя башмаками, так что каменный идол, внезапно шагнув с пьедестала, всех их подошвами толстыми запросто мог придавить, как букашек, внизу роящихся, мешающих различать коммунизма светлые дали, читали свои стихи собиравшейся отовсюду на громкие, по возможности, ломкие их голоса, любопытной, жаждущей зрелищ, с милицейским возможным вторжением на священное это место, для кого-то, но не для всех, с вероятным скорым разгоном и самих поэтов, и тех, кто пришел их послушать, публике.

Велик был выбор тогдашних, поэтических, частых чтений.

Это, скажу напрямую сейчас, для меня уже вскоре стал очень важен — отбор.

А другие так, по инерции, по привычке, и продолжали читать везде, где придется лишь бы люди слушали их.

Это было их личным делом.

А скорее всего, если в корень посмотреть, если жестче сказать, — самодеятельностью обычной.

Всему ведь нужна мера.

Для всего существует предел.

И в чрезмерной, излишней публичности — для меня — было мало проку.

Зачем же так надрываться? Для саморекламы, что ли?

Нет, уж лучше я буду работать.

То есть, как и всегда, по традиции, давней, русской, — просто писать.

Иногда показать кому-нибудь то, что сделал недавно, только что, да особенно ежели чувствуешь, что стихи твои хороши — это, братцы, совсем другое.

Впрочем, что там скрывать и зачем, несмотря на некую общность, каждый был из нас — в этой гуще, слишком пестрой, — сам по себе, меньше, больше ли, — каждый все-таки что-то делал, как мог, — свое.

Может быть, я заблуждаюсь?

Неравноценным было, конечно же, это, второго, третьего или десятого, плана, или разряда, или сорта, кто его знает, как точнее определить, вне лидеров, настоящих смогистов, меня и Губанова, после нас, в стороне от нас, общесмогистское, так выскажусь нынче, поморщившись и вздохнув поневоле, творчество.

Каждый — вправе сам был тогда выбирать, как вести ему, в этом слишком уж бурном кипенье, в этой каше всеобщей, себя.

За других отвечать и теперь, помня выверты их, не желаю.

Разберутся пусть сами с собою.

У меня был — собственный путь.

Рисовали афиши — броские, такие, что, их увидев, мимо никак не пройдешь, равнодушным уже не останешься, остановишься, прочитаешь, что же там, в афишах, написано, что же сказано там о СМОГе, и захочешь туда пойти, где смогисты стихи читают, и картинки там выставляют, необычные, и пойдешь, и придешь, и увидишь там людей возрастов различных, привлеченных на вечер наш, как и ты, афишами яркими, такими, каких в столице доселе еще не бывало, и услышишь то, что хотел там услышать, вдобавок увидишь то, что больше нигде не увидишь, а вели сюда всех — афиши, задиристые, уж точно, а то и, вполне сознательно, эпатажные, вызывающие.

Некоторые сметливые, быстроногие добровольцы, очень сообразительные, шустрые удалцы с должным рвением их расклеивали во всяких людных местах.

Власти, эти афиши завидев, их срывали, уничтожали.

Особенное ярое наши сторонники с боем, случалось, отвоевывали афиши, объясняя свои поступки тем, что нельзя губить свидетельства бурных дней, которые могут стать со временем раритетами, уносили с собой, на память, годами хранили их дома.

Печатали на машинке пишущей самодельные, так, бумажки обычные, почему-то в изрядном количестве, удостоверения СМОГа, и, уже в огромном количестве, пригласительные билеты на знаменитые наши смогистские вечера.

Практика с этими странными, для каждого, чтобы числился в СМОГе, удостоверениями решительно мне не нравилась.

Да что же это такое?

Билеты членские — новая, гибридная модификация — Союза писателей, что ли?

Ну в точности как в любой советской организации: ежели есть таковая — получай-ка удостоверение.

Но можно ли было всяких общественников-смогистов революционного толка хоть в этом переубедить?

Нет, они, канцелярские крысы, хотели, буквально требовали, чтобы все было в СМОГе, по их разумению, видно, всамделишным, учтенным, отмеченным галочкой, разграфленным, как и положено в советской, непрошибаемой, всеохватной, всеобщей системе.

Вот вам и бюрократизм, каков бы тогда он ни был, пусть и зачаточный, робкий, даже в смогистской среде.

Учет, канцелярщина всякая.

Ох, не люблю я этого!

По любому поводу — справка?

Так, что ли? Что за бредятина?

Но многим наличие собственных, личных удостоверений очень даже, представьте, нравилось.

Некоторые хранят их бережно до сих пор.

Как реликвии, полагаю.

С номером соответствующим, с фамилией, именем, отчеством — на машинке, разборчиво — каждое.

Смогист имярек, допустим, — вот он, номер такой-то...

Привычка неистребимая советская — так полагается, и точка, будешь как все, — к наличию документа?

Наверное. Кое-кому никуда от нее не деться.

Страсть к бумажкам различным, желательно с фотографией и с печатью, так, на всякий пожарный случай?

Допускаю. Вполне возможно.

Пусть — ворчу. Но зато и свидетельствую: канцелярщина в СМОГе — была.

Сочиняли весьма задорные манифесты и апокрифические, для теперешней молодежи с измененным сознанием, лозунги, в которых афористичность, лубочная или плакатная, в зависимости от цели, а также от содержания, и намеренный эпатаж перемешивались невольно с серьезными установками.

Вначале, насколько помню, это делали сообща.

Потом занималась этим уже отдельная группа.

Им очень уж надо было производить манифесты.

Ну а лозунги — как же без них?

Любовь к шумихе? Конечно.

Реклама? Ну да. Наверное.

То, что сейчас назвали бы маркетингом? Что ж, пожалуй.

А также — тяга к публичности.

Почему-то очень уж требовалось некоторым, озабоченным популярностью собственной в массах, быть на виду у всех. Гражданственность пресловутая тоже в них отзывалась, в этих, всегда задиристых, вроде бы несоветских, с вызовом всем и всему, эпатажных до безобразия, задевающих за живое официальных писателей, не дающих им жить спокойно, лишаящих сна, ругательных, язвительных, афористичных — ну дальше некуда, наскоро сочиненных, обычно — Губановым, Батшевым и Недбайло, с бойцовскими их замашками, лозунгах и манифестах.

Интерес к таким, как выяснилось, как всегда у меня, случайно, имеется и поныне.

Позвонил мне однажды вечером, несколько лет назад, поздней осенью или зимой, когда я бываю в Москве, представившись, мол, такой-то, и сказав, у кого узнал он телефон мой, преподаватель Литинститута, взявшийся составлять почему-то сборник манифестов разных давнишних литературных групп.

Я сказал ему, что считаю все это баловством.

Дурью этакой. Даже чушью.

Объяснил ему, что ничегошеньки из подобной, вряд ли имеющей отношение к литературе, доморощенной писанины у меня просто-напросто нет.

Никогда ее не собирал.

Не хранил. В тайниках не прятал.

Относился всегда к ней с юмором. Или же — иронически.

Манифесты — не для меня.

У меня — другие задачи.

Были. Есть. И будут всегда.

Я — пишу свои книги. Пишу, год за годом, стихи и прозу.

Если хочет преподаватель — может их наконец почитать.

Не читал ведь наверняка ничего из моих сочинений.

Почитал бы. Глядишь, и поймет, что ведет меня столько лет в этой жизни, не больно-то сладкой, что хранит меня и спасает.

Манифесты — удел кривляк.

Суррогаты реальных драк.

Битв — за правое дело. Драм.

И — трагедий. Все видел — сам.

Испытал я все это — встарь.

Манифесты — глухая хмарь.

Тот, кто ищет, найдет всегда?

Что ж, ищите. Привет героям!

То-то встанут неровным строем.

Пошатнувшись туда-сюда.
Манифесты — коты в мешках.
Скорпионы — в сухих песках.
Их искать — бесполезный труд.
Манифесты — словесный блуд.
Шиш в кармане. Кромешный бред.
В манифестах — искусства нет.
Ищите, коли желаете. Попрошайте по всей Москве.
У других, вполне допускаю, — может, что-нибудь и завалялось.
Долго мы говорили о СМОГе.
Живой человек. Образованный.
Очень интересующийся тем, что происходило в неофициальной культуре, в былые годы, в стране.

Через какое-то время, долгое ли, короткое ли, как всегда, совершенно случайно оказался я в книжной лавке, расположенной во дворе пресловутого Литинститута.

Нет, не случайно все-таки.

Приехал туда специально, чтобы купить обязательно два первых, вышедших в свет, отлично изданных тома собрания сочинений любимого мною Хлебникова, да заодно и трехтомник великого Велимира.

Смотрю — на прилавке книжка.

Небольшая. Ну так и есть: манифесты литературные.

Открываю: ну, где же СМОГ?

Был там и СМОГ. Ну как же без него, без нашего СМОГа!

Только я такого бредового, идиотского манифеста, какой напечатан там, сроду, братцы, не видывал.

Хотелось бы все-таки знать: кто его и когда сочинил?

Да и прочие материалы, вроде бы и по СМОГу, но слишком уж обтекаемые, условные, без конкретики важной, всмятку, без должного, хоть и простенького, пускай, но внимательного отбора, совершенно меня не устроили.

Почему-то — сплошные стихи.

Мое — «Когда в провинции болеют тополя...» — стихотворение давнее, шестьдесят четвертого года, которое сорок лет все, кому только не лень, суют, нередко без спросу, куда угодно, в любые антологии, сборники, в прочие, скороспелые или толковые, их число все растет, издания.

Губановская «Полина». Искаженный, неправильный текст. А еще и двенадцать строк из этой поэмы, в виде отдельного стихотворения, — тот самый клочок, что был напечатан когда-то в «Юности» и вызвал бурю казенного советского негодования, заказных дурацких насмешек и ровно двенадцать, на каждую напечатанную строку — по язвительному, сомнительному в убежденности авторов опусу, фельетонов и гневных статей в периодике шестидесятых, начиная, конечно, с журнала сатирического «Крокодил», что, кстати, Губанову создало неслыханную рекламу и способствовало стремительному росту его известности.

Почему-то там был Галансков — «Человеческий манифест». Ну какое, скажите мне, граждане, ровесники и соратники, еще живые свидетели событий минувших лет, хоть малейшее отношение имел он когда-нибудь к СМОГу?

Никакого. И никогда.

И еще были там какие-то слишком условные тексты.

Вздыхнул я. Закрыв новоявленный, состряпанный наскоро сборник.

Опять с этим СМОГОм, ну что тут поделаешь, все не так, вкривь да вкось, поперек, вверх тормашками, на авось, лишь бы видимость мнимую понимания снова создать, и ничего, совершенно ничего, ну что за напасть многолетняя, — по существу.

Ладно. Я-то — привык.

И не такое бывало.

СМОГ — полон тайн, многолик.

Вот Изидино покрывало.

Кто сорвет его — и когда?

Не скажу вам. Не ваше дело.

С волшебством шутить, господа?

То-то стали белее мела!..

Положил я в сумку походную изумительные сочинения своего любимого Хлебникова — да и вышел из книжной лавки, где новинок было навалом, только не было книг моих, но верил я, что когда-нибудь они окажутся там, и они действительно там, среди прочих, потом оказались, потому что пути моих книг таинственны и сложны, и где их только ни видели, и где их ни покупали, даже в странах вполне экзотических, не то что в московской книжной лавке, у стен по-горьковски плодящего сочинителей российских Литинститута, во дворе, где стоял Мандельштам, наблюдающего московский дождик, и к нему, навестить знакомого, побеседовать с ним, приходил голодный, оборванный Хлебников, и чета Мандельштамов кормила Велимира, и Осип Эмильевич очень внимательно слушал рассуждения гостя высокого своего, о важных материях, и все-то запоминал, и все это благотворно воздействовало на него, и все это эхом откликнулось в поэзии мандельштамовской двадцатых, потом тридцатых годов, да и в прозе его, по-хлебниковски раскованной, лаконичной, многоголосой, сияющей новизной, со свободным, глубоким дыханием, с обостренным, пронзительным зрением, и вспоминал Велимира он с благодарностью и любовью, а там, поодаль, бродила тень Андрея Платонова, и двигалась ей навстречу тень Сергея Клычкова, да мало ли чьи здесь тени писателей русских маячили, на фоне старого здания, унесенного в Зазеркалье с собой Михаилом Булгаковым, на фоне редких деревьев и узорчатой грустной ограды, на фоне фигур приблизительных развеселых студентов нынешних, подрастающего поколения отечественных сочинителей, пишущих под руководством чутких преподавателей стихи или прозу, и даже, вполне вероятно, и пьесы, а может быть, переводящих какие-нибудь шедевры, опять-таки под неусыпным взглядом своих наставников, опытных, поднаторевших в сочинительстве, доброжелательных, по-рейновски или по-битовски, но все ведь равно по-горьковски, согласно заветам классика, к пишущей молодежи, а день был прохладным, светлым, и на Тверском бульваре гулял Александр Сергеевич Пушкин, и рвался мысленно к нему навстречу сидящий в одном из дворов московских, на фоне особняка, где горела и не сгорала, выходя, как Феникс, из пламени, рукопись многострадального, второго тома, с пророческим текстом, со смыслом, сознательно зашифрованным, для потомков, с таинственным светом ведическим в речи праведной, «Мертвых душ», Николай Васильевич Гоголь, и я помахал им издали рукой, и кивнул, приветствуя, и, вместе со мною шествуя по столице, с ее небылицами и явью неизъяснимой, улыбнулся им день хороший, да и мне заодно улыбнулся, чтобы душу мою успокоить, чтобы сердце мое пощадить, — и отправился я восвосяси, из центра, с его загадками и сюрпризами, в Новогиреево, на восток столицы, домой.

Подальше от манифестов.

Такая вот, разлюбезный читатель, очередная, простая, проще уж некуда, без подтекста, зачем он здесь, без морали, нечего ей возникать некстати, без пафоса, без акцентов на чем-то нужном, без намеренных умолчаний, без глобальных идей, без пауз,

для того, чтобы в ритм войти, нет, ну что вы, лишь правда жизни здесь, без всяческой укоризны, возникает, как свет в окне, и довольно ее вполне для меня, благо стану вскоре я говорить о другом, история.

Но между тем у кого-нибудь наверняка, полагаю, должны сохраниться смогистские лозунги и манифесты.

Что-нибудь небось уцелело.

Не в писательских, частных, архивах — так в лубяньских, чекистских архивах.

Что-нибудь из образцов смогистского удалства и прежнего молодечества, без сомнения, где-нибудь есть.

Составляли — когда и кто это делал, сейчас не помню, не берусь конкретно сказать, да и надо ли говорить, если делалось это спонтанно, кем-нибудь из орды смогистской, ведь всегда находились охочие до таких решительных действий, им бы только собрать в одну кучу всех знакомых, да сунуть в нее писанину свою, потому-то и хорошее, и плохое перепутывалось, тасовалось, превращаясь в какой-то кулеш запорожский, или, понятней для московских людей, в винегрет, составляли всякие гаврики с кренделями, включая матерых оглоедов и тихих мерзавцев, да еще безобразников разных, то ли с улицы прямо, то ли напрямиком из дурдома, такое было раньше в порядке вещей, составляли, может, с похмелья, ну а может, и крепко выпивши, может быть, по трезвянке, вполне допускаю это, случались у различных псевдосмогистов, иногда, периоды трезвые, составляли, в изрядном количестве, вкривь и вкось, наши общие сборники — самиздатовские, разумеется.

Ну, здесь была бы машинка.

И она всегда находилась.

А порою была под рукой.

Была бы бумага, побольше. подешевле, серая, тонкая, в пачке — целых пятьсот листов.

Было бы только желание — составить такой самиздатовский сборник.

И желание возникало, само собою. И часто.

А текстов было — навалом.

Выбирай, что тебе приглянулось, поскорее перепечатавай — вот и новый, пожалуйста, сборник.

Первый наш сборник — «Чу!» — составил я сам — и сразу же перепечатал его, сам, своими руками, в общежитии МГУ, в комнате, где обитал я, тогда, в феврале или в марте смогистского, шестьдесят пятого, странного года.

Название дал — Губанов.

Чу, мол, смогисты идут!

Витязями из туманов.

Знают они — их ждут.

Чу! Приготовьтесь, люди!

Где там у вас хлеб-соль?

Вспомните вы — о чуде.

Сквозь головную боль.

Чу! Слышен отзвук битвы.

Чу! Где-то бьют набат.

Вам — возносить молитвы.

Нам — проходить сквозь ад.

СМОГ есть в родном краю.

Будем со злом сражаться.

Птицы меж звезд кружатся.

Встреча грядет — в раю.

В сборнике — четверо авторов: Губанов, я, Кублановский и краснощекий Батшев.

Обложку я, отыскав простенькую акварель, тут же разрисовал.

Напечатал — всего четыре экземпляра. Бумаги хватило в аккурат на такой тираж.

Пришли потом к Иодковскому на его всегда многолюдное, с любопытствующими субъектами, с неопознанными объектами, существующее вопреки логике и абсурду, по своим законам, неписаным, но явным, литобъединение, и там, принародно, немедленно, продемонстрировали, а теперь сказали бы хлеще, на иностранный лад, презентовали сборник.

Он произвел фурор.

Сборник наш вырывали из рук, читали, разглядывали, смотрели на свет, прощупывали, трясли, словно мог оттуда золотой просыпаться дождь или выпасть неожиданно зашифрованная записка от обитателей какой-то другой планеты, пытались тут же, на месте, переписывать наши стихи, допытывались настырно, нельзя ли в сборнике будущем поучаствовать не входящим в СМОГ молодым и не очень молодым, но пишущим людям, или надо вступать им в СМОГ поначалу, и только потом принимать участие в сборниках, и шумели, и голосили, и вопили что-то похвальное, сообща, гуртом, и так далее, нет возможности передать, по прошествии стольких лет, эту, бурную слишком, реакцию на всего-то одно единственное самиздатовское издание.

Событие, да и только.

Событие? Ну и ладно.

Читайте, коли хотите.

Обсуждайте, гурьбой. Изучайте.

Берите! Вот они, сборники.

Раздал я тогда кому-то, совершенно не помню — кому конкретно, все экземпляры.

Себе — ничего не оставил.

Не было в этом нужды.

Ну подумаешь — сборник! Вот счастье-то!

При желании — хоть десяток или два, напечатать можно.

Только лучше — не повторяться.

Лучше сделать — хороший сборник.

Новый. Тщательно, четко продуманный.

Только не было у меня тогда никакой охоты сидеть за машинкой часами и печатать прочие сборники.

Если очень хотят, то пускай занимаются этим другие.

Мне и так было чем заняться.

Я — работал. Писал. Читал. Общался с людьми достойными.

Жизнь моя — была напряженной. Удивительно интересной.

Махнул я рукой на смогистские сборники. Ну их в баню, как говорят в народе. А Достоевский прибавил бы: в баньку, да с пауками. Вот ведь как рассуждали правильно русские классики!

И успел позабыть я об этом всех поразившем «Чу!».

Другое, куда масштабнее, было мне по плечу.

А молва по Москве гуляла говорливою Царь-Девицей.

Вскоре «Чу!», к моему изумлению, издали уже за границей.

Кублановский, Юрий Михайлович, в просторечии Куб или Кубик, такова его первоначальная, устаревшая нынче кличка, в семидесятых годах даже деньги из-за кор-

дона за свою публикацию в «Чу!», за цикл «Ночные гадания», который я напечатал по памяти в этом сборнике самиздатовском, получил.

Гонорар заграничный. В валюте.

Уточнил, куда обращаться.

Не поленился поэт написать по какому-то адресу, для немногих, наверно, для избранных, а может быть, для посвященных, существовавшему в некоей процветающей, тихой стране, переправить на Запад свою просьбу о гонораре.

Ему оттуда исправно передали некую сумму.

Хватило и на гульбу, и на скромные развлечения.

Любил поэт иногда расслабиться, покайфовать.

Меру, впрочем, и в этом знал. Особо не зарывался.

Погуляет, подальше от глаз, всевидящих, общебогемных, покайфует, расслабится всласть, — и опять он, гонимый, страдающий за свои убеждения, нищий и голодный, у всех на виду.

Вот какая сообразительность.

Сквозь ужаснейшую действительность.

Как в глазок подсмотрев дверной: нет гонителей ли поблизости? — знать, в гэбэшной погрязли низости! — и пошел себе стороной.

Очень часто потом он этим гонораром валютным хвастался — вот, мол, какой он хваткий, уж свое-то возьмет всегда.

Кажется, кроме этого гонорара шального за «Чу!», получил он вдобавок деньги и за другие сборники, в которых тоже, конечно, были его стихи.

Вспоминаю названия сборников и альманахов смогистских.

Было их несколько. Видел я далеко не все. Но какие?

Вспоминаю — и понимаю, что забыл я эти названия.

Наверное, мне они как-то не понадобились, как сказала Цветаева о Достоевском, не понадобились — тогда уже были неинтересны по причине своей хаотичности, беспорядочности, иногда по причинам литературного, для меня очень важного свойства, то есть уровень их меня не устраивал, вот и все, и мудрить тут особо нечего, раз не нравится, значит, не нравится, эти сборники с альманахами совершенно мне не нужны, стерлись в памяти, просто-напросто сразу выветрились из нее, испарились, исчезли напрочь, ибо память моя избирательна, хоть осталось в ней всякое, впрочем, до сих пор, из разряда таких пируэтов и выкрутасов, парадоксов и залепух, из былых, фантастических, лет, что, бывало, припомнив подобное, головой покачаешь седую, да вздохнешь, да рукою махнешь, эх, мол, мало ли что когда-то в нашей яви происходило, да глядишь за окно, в пространство, в даль, манящую, как и прежде, в глубь, неведомую доселе, в высь, прекрасную неизменно, в небеса киммерийские чистые, где над морем и над горами, над холмами и над степями снова ясные звезды зажглись.

Вот, например, возникает название в памяти: «Сфинксы».

Но что это за издание самиздатовское — или, может, просто изделие чье-то, самостоятельное, — трудно сказать.

И что это в нем за сфинксы — московские, чай, не египетские, смогистские, псевдосмогистские или еще какие — собрались, как-то все равно.

Хрен с ними, сфинксы так сфинксы.

Хорошо, что еще не монстры.

Нынче такое название запросто дали бы сборнику первобытные, дикие люди нашего как бы времени.

Еще забрезжило что-то.

Но напрягаться не хочется и выяснять поконкретнее — что это был за сборник, и кто его составлял, и что в нем за тексты собраны.

Все это делалось кем-то — под шумок, на волне успеха смогистского, то есть нашего, в основном моего и губановского, за которым все остальное выстраивалось в разномастную, длиннущую, километровую, жаждущую успеха дополнительного, своего, который урвать успеть бы надо, пока не поздно, безобразную, многолюдную, с перекличками и с номерками, карандашом химическим, да почетче, да покрупнее, на руке, чтобы видно было всем и каждому, и вблизи, и за многие сотни метров, растянувшуюся на годы, иногда и на десятилетия, слишком алчную, глупую очередь, не оставшуюся в истории, растворившуюся безвозвратно в ядовитых кислотах времени, выжить в коих было непросто, это надо было суметь, это было дано немногим, единицам, буквально, считанным современникам, — это делалось (хорошо, что именно так получилось, давно я считаю, слава богу, что все обошлось, не замешан я в безобразии, не участвовал я в бестолковщине чьей-то, с чьими-то, видно, амбициями и претензиями на свое, под бочком у героев, тепленькое местечко в литературе, нет местечка им, не досталось, ветер дунул, труха осталась и развеялась, пустота, нет желающих притулиться возле пламени, с ним сродниться, между кодлой и мной — черта, за которой — сиянье дня), — это делалось — без меня.

Через кратчайшее время шумиха смогистская мне надоела до невозможности, и я, совершенно сознательно, держался подальше от всяких весьма сомнительных сборищ.

Никаких гонораров таинственных, с оказией, с вечной оглядкой на бдительность служб известных и прочие, непредсказуемые, бесчисленные препятствия на пути общения граждан советской, режимной страны с гражданами зарубежных, свободных, как ветер, стран, за свои публикации западные смогистского, слишком бурного, вовсе не идиллического, но жестокого и опасного, в чем-то, возможно, безумного, в чем-то и героического, теснейшим образом связанного с молодостью моей, и поэтому личного времени, моего, незаемного, кровного, несравненного, безусловного, времени возмужания, времени роста духовного, никогда я не получал.

Мне и в голову не приходило — обратиться куда-то, чтобы оттуда, откуда-то, может, из каких-то вполне буржуазных, монструозных, недружелюбных, что действительно подтвердилось на скрещенье столетий, стран, а может, из преисподней, а может, прямо из воздуха, что похоже на истину в годы вселенского сверхизобилия зеленых бумажек штатских, вообще неизвестно откуда, как из шляпы заморского фокусника с голливудской, от уха до уха, ослепительной от сиянья тридцати двух вставных зубов, обещающей манну небесную прямо завтра, лживой улыбкой, с благодарностью за труды и страданья во имя речи, нашей, русской, прислали деньги.

Мне надо было тогда, на упрямстве, на воле сплошной, задыхаясь во мгле, загибаясь на пути своем, — выживать.

Неприятностей был — воз.

Ведь взялись за меня — всерьез.

Неприятности шли — косяком.

Хорошо я с ними знаком.

Кроме них, пропади они пропадом, ничего у меня от СМОГа вообще не бывало, годами.

Какие там гонорары!

Уцелеть бы. Выстоять. Жить.

К тому же я очень много, вопреки всем бедам, работал.

Никто мои сочинения четверть века не издавал.

Боялись. Я был — под запретом.
Что делать! Был я — поэтом.
Непохожим на всех остальных.
(Из явлений природных, земных.
Так один знаток заявил.
Был он — прав. Может, в этом дело.)
Государство гадать не хотело:
что за штука — мои стихи?
Государство искало — грехи.
И — провинности. И — промашки.
Мне известны его замашки.
И, средь них, замалчивать — главная.
Эх, сограждане! Православные!
Люди всех религий и вер!
Были власти — вроде химер.
С паханами я — не дружил.
Изуверам я — не служил.
Жил — как мог. Как умел. Дышал.
Сам свои проблемы решал.
Государство меня — губило.
Я — из пламени воскресал.
Не до шумихи было.
Я — книги свои писал.

Но самиздат — мой, личный — был моим образом жизни.

Он и теперь продолжается.

Несмотря на то, что в отечестве, драгоценном, преображенном, вышли книги мои (пусть не все, далеко не все, так точнее, остальные так и не изданы до сих пор, и стихи, и проза, и прочие, в разных жанрах, за столько моих скитальческих, затворнических, отшельнических, жреческих, ясновидческих, рабочих, творческих лет), с запозданием, впрочем, изрядным.

Несмотря на то, что порою в журналах меня печатают. Нечасто. А все же — бывает.

Тем не менее — жив самиздат мой.

И даже сейчас, когда я пишу кое-что о СМОГе, по привычке давнишней думаю: издадут ли? — да кто его знает!

Самиздат — он и есть самиздат...

Но вернусь — к временам смогистским.

Настроение было у всех совершенно, без исключения, как я теперь, с ностальгическим, усталым вздохом, свидетельствую, неизменно — тогда — приподнятым.

Атмосфера пьянящей праздничности укреплялась день ото дня.

До поры до времени — так, с грустью, с болью, вполне понятной мне, теперешнему, седому, сквозь огонь и воду прошедшему, да в придачу к ним и какие-то неременные медные трубы, как гласит поговорка народная, для которой точность и краткость — обязательные условия, а правдивость ее — полнейшее совпадение с личной судьбою, с башни возраста своего, со скалы нерушимой опыта, в междувременье замечаю.

Но тогда, на заре смогистского, с новизною во всем, движения, мы этого, к сожалению, просто еще не знали.

Как же! Праздник... Февраль. Завихрения снежные —
 по Москве, — морозными кольцами,
 все кругами, а то и спиральями.
 Свет из окон — и в душах свет.
 Праздник. Сборища многолюдные.
 Будут — горести многотрудные.
 Но — до них — ощущение праздника.
 Карнавальный водоворот.
 Это — праздник? Но — чей? Всамделишний?
 Долгожданный? Откуда? Надо же —
 сам пришел. Вот он, здесь. Надолго ли?
 Карнавал. Неужели — наш?..
 По Москве — холода. Всеядные.
 Самовластные. Долгосрочные.
 Ну а мы — отчего-то — празднуем?
 Снежной насыпью станет гул
 карнавальный. Коварной наледью
 будет скована чудо-молодость.
 Годы смелые под сугробами,
 не успеешь моргнуть, окажутся.
 То-то мало нам не покажется!
 Но пока что — праздник у нас.
 Праздник дружбы и праздник чаяний.
 Праздник речи и праздник радости.
 Праздник творчества. И — провидчества?
 Или, может быть, волшебства?
 Трудно выразить это. Вскорости
 станет нормой уже — затворничество.
 Для меня-то — уж точно. Помню я,
 почему получилось — так.
 Но пока что — мы что-то празднуем
 всем своим естеством. Приветствуем,
 всею шумной гурьбою, новое
 в наших судьбах. Ликуем. Сон?
 Присмотреться бы нам внимательней.
 За снегами — прозреть бы знаменье.
 Недосуг было. Длилось — празднество.
 На заре закатных времен.

Из пестрого, разномастного, мозаичного, словно в некоем огромном калейдоскопе, звучащего всеми сразу смогистскими голосами, а также всеми шумами, какие только бывают в природе и в человеческой, весьма непростой среде, всевозможными воплями, криками, песнями под гитару, музыкой из приемников, даже колоколами немногих, в те времена, просто наперечет, но, все-таки, вопреки навязанному властями всеобщему атеизму, действующих церквей, начального, первобытного, достаточно дикого хаоса — на глазах наших, в поле зрения, обостренного чрезвычайно, на виду, перед нами, вплотную к нам, рукой до него подать, рядом, близко совсем, впереди, ну, чуть-чуть до него остается, но чуть-чуть, говорят, не считается, значит, просто в пределах нашей досягаемости, так скажем, выкристаллизовывалось нечто вроде бы целостное.

Получалось это, представьте, как-то само по себе, вроде бы совершенно без всяких усилий видимых, свободно, естественным образом.

Вот что нас тогда поражало.

Так-то оно, соглашайся я, так, но мы на людях делали, по-мальчишески, из упрямства, из любви ко всему необычному, к неизменным тайнам, загадкам, вид, что все, мол, идет, как и задумано было, что все образовывалось в прямой согласованности с ясной, в жизнь воплощенной идеей, что все это, братцы-кролики, соратники, современники, — от искры, Божьей конечно, сразу же вызвавшей к жизни целое жаркое пламя.

Отвлекусь ненадолго, пожалуй.

Вот о чем, полагаю, сейчас обязательно стоит сказать.

Существует ведь, и давно уже, лет сорок, никак не меньше, а то и побольше, огромная, интересная иконография друга лет молодых моих, поэта Лени Губанова, — сотни, если не тысячи, вполне вероятно, что так и есть, его фотографий.

Разбросаны эти снимки по местам самым разным, находятся у людей, и знакомых мне, и до сей поры незнакомых, и где конкретно искать их, у кого — я точно не знаю, но знаю зато давно уже и твердо, что этих мест и людей таких, обладающих реликвиями смогистскими, можно так в наши дни считать, в столице великое множество.

Губанов очень любил, для истории, фотографироваться.

Он всегда охотно позировал всем этим суетливым, щелкающим своими «ФЭДами», «Зоркими», «Сменами», компанейским, полубогемным, в свитерах до колен, в штанах с бахромой, с бутылкой в портфеле или в сумке через плечо, бородатым, длинноволосым, в основном, иногда и в костюмах однобортных, в ботинках начищенных, кто уж как одевался в те годы и каков был собственный стиль, если был он тогда, ребятишкам, которых вокруг него вертелось полным-полно.

Он словно трезво, сознательно, считая, что так и надо поступать, неустанно заботился о том, чтобы образ свой оставить — таким вот, размноженным, на всякий случай, мол, всякое бывает, а так, глядишь, хоть что-то да сохранится у кого-нибудь и найдется когда-нибудь — для потомков.

С него, представьте себе, даже при жизни, заранее, в восемнадцатилетнем еще, молодом, согласитесь, возрасте, скульптор Геннадий Распопов, старший его друг и ярый, верный поклонник, в мастерской своей, на Серпуховке, снял однажды, с его согласия, а верней, по его желанию, гипсовую, настоящую, такую, какие с классиков после смерти, бывало, снимали, белую, выразительную, жутковатую несколько, маску.

На всякий случай, как водится.

Впрок. Авось пригодится.

Когда-нибудь. Там, в грядущем.

Чтоб — на потом была.

Небось потомки спохватятся:

— Маски-то нет губановской!

По незнанию, разумеется.

По неведению своему.

По нелепости, как всегда.

Но не тут-то бывало, потомки!

Маска — вот она. Принимайте.

Куда-нибудь определяйте.

Лучше всего — в музей.

Там ей самое место.

И слепок руки губановской Гена тогда же сделал.

Поразительная рука.
Певчая. Гибкая. Белая.
Поющая. Это уж точно.
Певчая. Так — вернее.

Да и маска-то получилась, поразив и Гену Распопова, и друзей, в мастерской собравшихся и ее сообщая увидевших, и самого поэта, хмельного Леню Губанова, впившегося в нее пронзительным, долгим взглядом, прозревающим что-то за ней для себя, такое, чего не поймут, не увидят другие, вдалеке, впереди, — трагическая.

Так и есть. Но еще и орфическая.

Потому что рвалась сквозь нее — песня. Чудилось: вдруг оживала — и звучала. Из гипса — на волю! Из застылости — в мир, в движенье! Из молчания — в музыку жизни, в благодатный, звучащий свет!

Вот какая маска была.

Вот какая в ней сила таилась.

Распопов очень любил как поэта и по-человечески, по-дружески Леню Губанова.

Всегда с нетерпением ждал его на свои постоянные вторники в мастерской скульптурной своей, памятные и мне.

Губанов на эти вторники, а то и в любые дни недели, когда приспичит, приезжал с великой охотой, нетерпеливо врвался вовнутрь, грохоча дверьми и стульями, тут же бросался обниматься с Геней Распоповым.

У того, мужика мускулистого, плотного, даже кряжистого, кремень, да и только, в плечах широкого, твердолицего, с глазами добрыми, ясными, улыбка при виде Лени сразу же появлялась шире его бороды.

— Леня всех примагничивает! — частенько говаривал Гена.

Это, хочу подчеркнуть, совершенно точно Распоповым, с попаданием в яблочко, сказано.

Губанов действительно был наделен от природы каким-то загадочным, невероятным, обаятельным магнетизмом.

Люди к нему — стягивались.

На некоторых из прежних, особенно шестидесятых годов, смогистского времени, фотографий, где снят он, такой молодой, одержимый поэзией, и с друзьями, и в одиночку, — это, если всмотреться и понять, хорошо заметно.

Иногда же — прямо от снимка, уж не знаю, каким же образом, исходит этот волнующий, чарующий магнетизм.

Перешел он на пленку, что ли?

А потом — на фотобумагу?

Зафиксирован — и остался, непонятно — как, навсегда?

Всюду — тайны. Всюду — вопросы.

Разберутся ли в них? Не знаю.

Магнетизма волна сквозная.

Световая? Как дар — без спросу.

Найти бы когда-нибудь эти старые фотографии!

Собрать бы их воедино!

Да куда там! Разве доищешься — при нашей-то, страшной, всеобщей, нынешней, все-российской, затянувшейся разобщенности, у наших-то выживающих по-своему каждый согражданин!..

Ничего, найдутся еще.

Когда время придет им — сами появятся, обязательно.

Когда наконец спохватятся — был ведь у нас Губанов! — тогда-то все и появится.

Все возникнет, само по себе.

Все тогда-то и сбудется — все, сразу же, — то, о чем Губанов давно говорил.

Но вернемся, любезный читатель, в февраль шестьдесят пятого.

Квартира Лёнина. В ней — натуральное столпотворение.

Снег за окнами. Дым табачный — сизым смогом, туманом по комнатам.

Гул сплошной, заполошные отзвуки — сквозь туман — голосов молодых.

— СМОГ в Москве! Понимаете? СМОГ!

— Приходите! Нас ждут сто дорог!

— Не хотите? Вот Бог, вот порог.

— Время СМОГа! Всему свой срок.

— Посолидней звучит — смогизм.

— Кто согласен? Держись, культура!

И — денек, поглядевший хмуро.

И — губановский магнетизм...

В руках у Батшева глухо шелестели длинные списки обращенных в новую веру, мелькали толстые папки и листки бумаги отдельные с переписанными от руки и, пореже, перепечатанными на машинке, стихами чьими-то, какие-то, сочиненные им, ловкачом, умельцем, неведомо кем обученным, причем со знанием дела, для меня, например, доселе совершенно непостижимым, призывы к чему-то, к действиям, наверное, но каким, не помню, с патетикой, с пылкостью, чуть ли не большевистской, манифесты, зачем, почему, для кого, до сих пор непонятно, и не знаю толком, о чем там говорилось, и знать не хочу, до того мне все это чуждо, неприятно, нет, отвратительно, хоть приходится, что же делать, о дурном сейчас вспоминать, — он, противный тип, краснощекий, точно лозунги в ленинской комнате, точно флаги на демонстрации, первомайской или октябрьской, точно кровь, по вине таких же самозванцев и выскочек мерзких, с воровскими их манифестами, декларациями, призывами, с их декретами и приказами, с их борьбой за место под солнцем, да получше, в Гражданскую пролитая, чувствовал здесь, при народе, себя как рыба в воде.

Общественник, да и только.

А может, и комиссар.

А может, чекист? В кожаночке.

Румяный. Глаза — маслянистые.

Стишки — все подряд — хреновые.

Ну хоть бы строчка нормальная попалась. Так, трескотня. Зато — в любую секунду готов их читать — везде. Потребность, видать. А может — инерция. Кто его знает!

Старался я что-то увидеть хорошее в нем. Но сколько бы ни всматривался в него — видел я лишь имитацию поэтичности, вдохновенности.

Видел — расчет. И — тщеславие.

Как же! Смогист. Герой.

Собственными глазами видел я два его паспорта.

В одном год рождения был сорок пятый, в другом, почему-то, по неясной какой-то причине, видно, важной, — сорок седьмой.

Будучи выпивши, он паспорта эти мне показывал.

И зачем ему — сразу два?

Хватило бы и одного.

Но, может быть, так было надо.

Двойственность — так во всем.
 В жизни — и в паспортах.
 Взял да и раздвоился.
 Где он? Какой — настоящий?
 Поди угадай. И не пробуй.
 Тайны сплошные. Личины.
 Кто он? Фантом? Да так,
 прочерк — за многоточием.
 Тень. Вопросительный знак.

Желтая лампа высвечивала в дальнем углу, где витала в спертom, прокуренном воздухе слишком уж густо забитой прищельцами шумными комнаты, самой большой в квартире, белесая нить паутины и жался к блеклым обоям вконец перепуганный го-моном непрерывным и гвалтом бесцеремонным, шевелящий растерянно лапками и серое тельце вжимающий в стену, словно желающий одного лишь, стать, хоть на время, незаметным, а лучше невидимым, крохотный паучок, узкое, в годы молодости, удлиненное, сверху вниз как-то внезапно стекающее, чтоб собраться там в точку одну, в загогулину подбородка, с носом, уже направленным прямо, видать, в грядущее, лицо Кублановского — Куба, Кубика, Юры, Юрочки, — лицо комедийного, кукольного, балаганного ли, театрального ли, не знает никто, Пьеро, и отчасти грустного мученика, одно-временно, который, широко раскрыв поначалу, а потом чуть скосив и сузив скорбные, как считали столичные дамы, глаза, с уже тогда набрякавшими под ними, как-то болезненно, тяжело провисавшими вниз лиловатыми, в мелких трещинках и пузырчатых складках кожи, словно вязкою влагой наполненными, изнутри, из нутра, мешками, от-чего казалось, что он постоянно ходит в нелепой, не снимаемой им полумаске, привы-кал к непривычной, но все же любопытной весьма обстановке.

Ему, студенту московскому, недавнему отроку рыбинскому, поэту провинциальному, совсем еще молодому, с мечтами о жизни в столице, о разных полезных знакомствах, об устройстве собственной жизни, драгоценной, неповторимой, которую надо было про-жить, по возможности, с пользой для себя, ему, наконец-то оказавшемуся в Москве, поступившему в МГУ, посещавшему, изредка, лекции, сочинявшему, время от време-ни, стихи свои, циклы новые, иногда интересные даже для московских бывалых людей, иногда оставлявшие их равнодушными, потому что интересы другие были и пристра-стия в те времена у богемы, ему, человеку осторожному, лучше все-таки быть практич-ным и рассудительным, так считал он, чем безоглядно в авантюры кидаться, влипая ни с того ни с сего в истории с нежелательными последствиями, лучше быть, пусть и с виду, как все, чем страдать понапрасну и мучиться, лучше жить, ничего не подела-ешь, принаравливаясь к обстоятельствам, — ему, сибариту, снобу, по натуре своей, лю-бителю и гулянок, и всяких зрелищ, любопытных или занятных, все равно, лишь бы можно было поглазеть на что-нибудь, выпить, провести вечерок-другой в обстанов-ке, где все добры, все приветливы и щедры, с ним особенно часто, судя по всему, было здесь куда приятнее находиться, нежели в скучной, казенной, унылой, временной ком-нате университетского общежития, где мы с ним тогда обитали, стараясь намеренно приходить туда попозднее, чтобы, ночь скоротав кое-как, поскорее оттуда уйти.

Кублановский, Юрий Михайлович то есть, попросту Куб или Кубик, жил тогда сти-хами совсем еще молодого, традиции собственных полудетских вещей и юношеских продолжающего, развивающего, своего периода яркого, жил стихами весьма необыч-ными, с их раскованной артистичностью, неуклюжей, но милой грацией, прелестны-

ми, ломкими, дерзкими, наивными и неожиданно точными обобщениями, парадоксами, элементами абсурда и сюрреализма, да еще и с тем их особым, органичным, естественным свойством, о котором Пушкин однажды выразился напрямую: «Поэзия, прости Господи, должна быть немного глуповата», и это ведь, кстати, было вовсе не недостатком, а как раз одним из достоинств Кубиковых стихов, и все это можно было великолепно развить, но Юра не сделал этого почему-то, и прогадал, как отошел он вскоре и от всего своего, названного чуть выше, что имелось в его стихах, но это произошло позже, потом, а пока что мне нравились, пусть с оговорками, но действительно искренне нравились ранние его вещи, и я помню их и сейчас, — театральность всегда граничила в его текстах, записанных им в обычных школьных тетрадках, с реальностью, горькой и грустной, но зато и прекрасной, вот именно, потому что это была — жизнь, волшебство и наитие — с осознанием трезвым собственной, трагической линии в русской, современной, новейшей поэзии, — и, вполне вероятно, что все происходящее нынче воспринимал он как только что, на глазах, рожденный театр, в духе, допустим, новаторского, модернистского, мейерхольдовского, где задается тон будущей постановке, распределяются роли, рисуются декорации, сочиняется кем-то музыка, репетируются отдельные, словно смальты кусочки в мозаике подбираются нужные, сцены, выясняются отношения, воплощаются в жизнь фантазии, режиссерские и актерские, где само грандиозное действие, с нетерпением ожидаемое всеми, кто в нем участвовать станет, всеми, кто его жаждет увидеть, лишь в развитии существует, чтобы брезжить там, впереди.

Но мне все чаще, с годами, думается, что грядущие события и свою, а не чью-нибудь, именно собственную, возможность, потребность — выжить, уцелеть, без особых потерь для себя, только так ведь, в них, — искал и пытался он, в меру своих возможностей, прозревать по-своему, то есть выискивать в отдалении, свернув, как трубу подзорную, простую тетрадку школьную со стихами своими прежними, поднеся ее ближе к посаженным слишком близко к носу глазам осторожным, уже тогда.

Громыхал, голоса остальные моментально перекрывая, маяковски-консерваторский, меднотрубный, державный бас Аркаши Пахомова, или же, что куда солидней, Аркадия, и совсем уж солидно, по-взрослому, вразумительно, убедительно для людей, Аркадия Дмитриевича, рослого, компанейского, с плечами, готовыми к тяжести предстоящих десятилетий, с их скитаниями и трудами в экспедициях и на стройках, в самых разных организациях и конторах невразумительных, за столом, посреди застолья, в тишине подмосковной дачи, в комнатенке старой квартиры, на балконе квартиры новой, с кружкой пива в руке, в пивнушке, с авторучкой в руке, за столом, над листком бумаги, по-птичьи искорябанным редкими строчками, громыхал и гудел, раскатываясь по просторам земли родимой, бас поэта, почти трибуна, правдолюбца и балагура, сочинителя песен, басен, анекдотов, застольных баек, с короткою стрижкой римского бравого легионера, или, что поточнее, примерного пионера, потом, со временем, вскорости, московского комсомольца, потом, наконец, геройского смогистского добровольца, читавшего свеженаписанные, с пылу с жару, внемлите, стихи.

Расстегнутый ворот рубахи очерчивал плотный ствол шеи, с острым по-птичьи, выступающим за воротник старой рубахи клетчатой косо срезанным треугольником, чувствительным кадыком, и волевой, казалось бы, подбородок, тяжелый, упругий, оказывавшийся все-таки, при более пристальном взгляде, не таким уж и волевым, скорее — одной угловатой, чуть дрогнувшей, простенькой линией очерченным, под настроение, неведомым и невидимым, небесным, вполне возможно, а может, земным

рисовальщиком, да так, непонятно зачем, и оставленным подбородком подростка, московского школьника, ну, может, десятиклассника, так и оставленным, надо же, со странным, в своей недосказанности, двойственным сочетанием боевой наигранной твердости и явной, природной, не тронутой временем инфантильности на долгие годы, видимым, в прежней своей неизменности, даже сейчас, под седой Аркашиной бородой.

Пахомов тогда находился на самой заре своего грядущего, уникального, житейского артистизма.

Иногда могло показаться, что этот вот артистизм и был основным его, превышающим все остальные способности и таланты, — помимо того, что был он оригинальным поэтом, — несколько балаганным, в малой степени цирковым, в чем-то, возможно, киношным, но больше всего театральным, прямо во МХАТ, да и только, идти, чтоб играть там на сцене главные роли, с успехом неизменным, к восторгу публики, бешено аплодирующей артисту народному, давнему любимцу столичных дам, герою легенд и сплетен, природным, врожденным даром.

Несколько тяжеловесная, но отмеченная неловким, еще смущенным, робеющим, простым, без всяких причуд, и не то чтоб наивным, но трогательным, для всех вокруг, обаянием, его поэтика медленно, с усилием, формировалась, он не топтался на месте, а двигался, как умел, как уж там получалось, вперед, и это меня, например, только радовало всегда, поскольку, без лишних слов, говорило о том, что этот человек богатой удали, с пугачевским огнем в глазах, находится непрерывно, как и следует удалцу, чтоб в себе разобраться, вести себя, в мир шагая, как в сказку, в пути, стихотворения, те, давние, молодые, не столь обильно, конечно, как у других, но все-таки достаточно регулярно появлялись тогда на свет, одно за другим, постепенно, размеренно, группировались, концентрировались, подобием небольшого, крепкого сборника, и он проверял их на слушателях.

У Пахомова был изрядный, не поставленный вовремя, голос, но, увы, почти не было слуха.

Но Пахомов — упрямо пел.

Пел — в застолье. Пел — для друзей.

Пел — в пивнушках. Пел — в экспедициях.

Пел — повсюду. Пел — для себя.

Пел — знакомым, по телефону.

(И сейчас он поет порой, если я ему иногда, чтобы с ним покалякать, звоню, зимним вечером, в поздний час, но не сразу поет, вначале говорит он о том, о сем, о легкой нынешней жизни, о болячках, его донимающих, о борьбе с недугами всякими, о своем пенсионном возрасте, о товарищах наших, живых и умерших, о днях прекрасных нашей молодости крылатой, и вздыхает, и потихоньку, все прихлебывает, в одиночестве, неизвестно какое пойло, помогающее, наверное, на плаву держаться ему, и густеет голос его, и тогда-то, снова почувствовав захлестнувший душу, затронувший где-то в сердце струны отзывчивые, несомненный, необъяснимый и чудесный, как встарь, прилив настоящего, без булды, вдохновения, — он поет.)

Читая стихи, он не пел их, как пел в молодые годы я или пел Губанов, а говорил их, рассказывал, проговаривал, обстоятельно, разыгрывал, как спектакль, отработывая и шлифуя все возможные интонации, и постепенно такая, без напевности, разговорная, словно с кем-нибудь с глазу на глаз он беседовал или просто говорил кому-нибудь что-нибудь, монологов любитель, свое, благо слушатель рядом был благодар-

ный, манера чтения стала его, пахомовской, собственной, личной, сказовой, театральной, в подходе к слову, полнозвучному, прозвучавшему так доступно, почти для каждого, кто внимал ему, что казалось, понимание вот-вот придет от широкой, разросшейся публики, но этого не случилось, вернее, случилось это частично, хотя, по-моему, и этого предостаточно, манера чтения стала убедительной, по-человечески, вполне, от влияний избавившись, чистой, оригинальной, вскоре — уже узнаваемой и тут же запоминаемой, он рос, он всегда совершенствовался в этом своем мастерстве.

Жаль, что не стал он актером.

Николай Лукьянович Мишин, друг наш Коля, веселый, сметливый, человек фантастический просто, с которым десятки раз на дню, и даже почаще, происходили всякие, порою необъяснимые, самые невероятные, несть им числа, происшествия, и я, вспоминая ныне прежние времена, многим из них был свидетелем, предлагал нам создать свой собственный, авангардный, смогистский театр.

Он и сам, переполненный бурной, творческой, щедрой энергией, был человек-театр. Жил он в Климовске, под Подольском.

В Москву и обратно, домой, ездил на электричке.

Билеты Мишин из принципа сроду не покупал.

А зачем? И без них доведут.

Однажды, для всех неожиданно, зашли в вагон контролеры.

Среди пассажиров — паника.

Платить никому не хочется довольно внушительный штраф. Некоторых беда, однако, уже штрафуют.

Разделившись на две боевые, мобильные, крепкие группы, грозно движутся контролеры, с двух сторон, к середине вагона, где у окошка сидит с портфелем, плотно заполненным книгами и бумагами, на коленях, с «Вечоркой» свежей в кармане пальто Коля Мишин.

Что делать? Вот ситуация!

Как выход найти из нее?

Коля не паникует.

Он ждет, как всегда, подходящего мгновения, самого нужного, чтобы действовать по наитию.

Контролеры подходят к Мишину.

Довольно вежливо требуют предъявить проездной билет.

Коля у них перед носом разворачивает газету, прорывает пальцем в ней дырку.

И — смотрит сквозь эту дырку, сощурившись, — так внимательно, пристально, со значением, смотрит — куда-то вперед, а куда — совсем непонятно, что поневоле подумаешь: человек непростой, это факт, дурака небось не валяет, а, скорее всего, по-своему, непривычно для всех, конечно, по заданию, знать, какому-то, не иначе, видать, работает.

Начинают меж тем контролеры нервничать: что за дела?

Начинают уже повышать тон. Привычка такая.

Теребят контролеры Колю за плечо. За оба плеча.

Переходят, все вместе, на крик.

А Мишин — ну хоть бы хны.

Он невозмутимо смотрит сквозь дырку в своей газете.

Возрастающий шум и громкие, на повышенных, резких тонах, голоса контролеров свирепых привлекают незамедлительно внимание пассажиров.

И вот уже весь вагон, увлеченно, заинтригованно, наблюдает за происходящим.

Еще бы! Такое зрелище!

Как ни крути, а все-таки — развлечение в общем пути.

Наконец контролеры, все разом, не выдерживают, срываются.

Орут, угрожают милицией.

Пытаются, всей командой, поднять Колю Мишина с места и увести с собой — наверное, для расправы.

Кошмар! Скандал, да и только!

Тогда Коля очень спокойно, медленно, вполоборота, оглядывается, с достоинством, с усталым, рабочим видом, с огнем героизма привычного в усталых, честных глазах, на разъяренных, пышущих гневом и возмущением, орущих, руками машущих, ногами топчущих попусту, не любимых народом советским, неприятных каких-то, противных, да и все тут, и нечего больше говорить о них, контролеров, серьезно, куда уж серьезнее, укоризненно, порицая безмолвно их за такое неприличное поведение, и строго, насквозь пронзая, взглядывает на них — и тихо, чуть слышно, коротко, но четко и твердо, так, что все это слышат в вагоне, роняет одно-единственное, жутковатое слово:

— Слежу!..

И снова смотрит сквозь дырку.

Тушуются контролеры, теряются всей командой.

Мало ли что? А вдруг?

Мало ли с кем они дело сейчас имеют?

Магическое «слежу!» на них безотказно действует, пугает их, укрошает.

И они уходят гуськом из вагона, как говорится в нужных случаях — восвосяси.

Мишин медленно складывает газету с дыркой вчетверо и снова кладет ее на место, в карман пальто.

А потом широко — всем присутствующим, по-свойски, с веселым подмигиваньем, как умеет он, — улыбается.

И весь вагон, изумленный событием небывалым, наконец-то сообразив, что это был просто мишинский, для него-то привычный розыгрыш, покатывается от хохота.

Или — пожалуйста — вот характерный другой эпизод.

Тоже — вечные Колины штучки.

От легкости, видно, характера, от азартности, в каждом шаге, в каждом жесте и в действии каждом, даже в помысле каждом порой.

От присущей ему, подмосковному пареньку, хорошей, забавной, постоянной, во всем и везде, где бы ни был он, авантюристности.

Так, спектакль, — для себя и друзей.

Каждый день приезжает Мишин на занятия в МГУ не на транспорте городском, на автобусе или троллейбусе, — нет, зачем ему мелочиться, — приезжает он на такси.

Вылезает он из машины напротив университетского дворика на Моховой, в просторечии «психодрома», где всегда народу полно, так, чтобы все это видели.

Небрежно хлопает дверцей.

Что-то вроде сует шоферу.

Деньги, видать по всему.

Вальяжно движется к нам.

Девушки, весьма любознательные, все вокруг всегда подмечающие, только ахают, удивляясь: «Опять, смотрите-ка, Мишин сюда на моторе прибыл!..»

И эти приезды барские длятся неделями целыми.

Откуда у человека столько денег, в наше-то время?

Весь факультет гадает, головы долго ломает, но ответа на этот вопрос многозначный никто не знает, и поэтому остается животрепещущим самым на каждый текущий день всеобщее недоумение: что бы все это значило?

Однажды я просто не выдержал.

— Коля, — очень серьезно говорю Лукьянычу-Мишину, — объясни, что все это значит? Откуда такие замашки? Что за райская жизнь? Что за шик?

И Коля тогда отзывает меня в сторонку и этак спокойно, вполне доверительно, по-дружески, откровенно, все мне и объясняет:

— Понимаешь, Володя, — ведь хочется, ты пойми меня, в жизни праздника. Игра иногда нужна, чтоб не скучать в повседневности. Вот я и решил позабавиться. И девушек заодно, всех оптом, заинтриговать. От угла Моховой и Горького, то есть от «Националя», где такси обычно стоят, до «психодрома» нашего — рукой, согласишься, подать. Я выхожу из метро. С таинственным видом быстро подхожу к таксисту. И тут же говорю ему, в лоб: «Старик! Подвези-ка до МГУ. Поскорее. Спешу. Во как надо!» И при этом немедленно делаю всем на свете понятный жест — провожу ладонью по горлу: позарез, мол, братишка, надо. И тут же сажусь в машину, обязательно рядом с шофером, — и протягиваю ему скромные двадцать копеек. Шофер, изумляясь, всегда только руками разводит: ну что, мол, поделать с тобой? Поехали. Надо так надо. И вот за секунды считанные довозит меня, оплатившего проезд свой, прямо сюда. Осечек совсем не бывает. И получается видимость моих регулярных разъездов, по всей Москве на такси. А мне просто жить интереснее так, понимаешь меня?

Ну что тут скажешь? Театр. Представление. Я смеялся — и, конечно, все понимал.

Однажды, в аудитории, на занятиях, Коля увлекся разговором с соседом своим.

Говорит с ним и говорит.

Наверное, даже забыл, временно, где находится.

Что-то ему рассказывает, вдохновенно, с подъемом, да так громко, что все студенты на голос его обернулись и тоже Мишина слушают.

И тогда-то преподаватель, пожилой, деликатный, тихий, терпеливый, интеллигентный человек, наконец не выдержал.

Как он крикнет, как рыкнет на Мишина:

— Замолчите, ужасный рыжий мужичок! Замолчите сейчас же!..

И Коля, впервые, пожалуй, за целый год моего приятельства с ним, человеком-театром, героем легенд, жизнь превратившим в праздник всегдашний, — вдруг растерялся.

Смутился. Точно мальчишка нашкодивший. Замолчал.

Этого вот «ужасного рыжего мужичка» я ему десятилетиями при случае припоминал.

Было у Коли Мишина, в смогистский его период, эффектное стихотворение.

Начиналось оно, мне помнится, более чем загадочно:

«Не надо памятник меня!»

Столь же загадочным было и его дальнейшее, с вывертами, с пируэтами цирковыми, с мизансценами театральными, в мейерхольдовском духе, возможно с акробатикой, содержание:

«Поставьте ей его под зеркало, чтобы, браслетками звеня, любовника бы в нем заметила!»

Что за ребус? Что это значит?

Нет ответа. Поди гадай!

Но зато — творение мишинское всех мгновенно обескураживало.

Коля этот свой опус, поистине эпохальный, частенько читал.

О Мишине и его приключениях бесконечных рассказывать можно часами.

Если когда-нибудь стану я писать о СМОГе подробнее, тогда и побольше о Коле, с превеликой охотой, скажу.

Когда его, с треском и грохотом, изгнали из МГУ — он действительно, все свои увлечения многочисленные позабыв, занялся театром.

Учился на режиссера.

Стал — драматургом. Надо же!

Пьесы в советских традициях, гражданственные, сочинял.

Их ставили в разных театрах. Чаще — в провинциальных.

Одну из афиш, с названием пьесы очередной, Мишин мне даже прислал.

Отыскать бы эту афишу.

Пьеса — вроде была о Ленине.

Видимо, проходная.

Конъюнктурная, скажем так.

Если Мишин пошел на это — значит, были причины весомые.

Человек практичный. Все взвесил. И — решился на этот шаг.

Ну и что же? Не прогадал?

Уж наверное. У него никогда я об этом не спрашивал.

Иногда, для души, возможно, для игры всегдашней своей, сочинял Коля Мишин пьесы для театра кукол. Детишкам, я надеюсь, его забавные сочинения очень нравились.

Кажется, он работал театральным администратором в провинции или директором театра, вдали от Москвы.

Но о своем настоящем призвании — о театре жизненном, повседневном — никогда он не забывал.

И все, как известно, к Соколов Александр Всеволодович, таково его отчество, Саша Соколов, как решил он себя, неизвестно зачем, называть, год рождения — сорок третий, месяц — ноябрь, число — шестое, место рождения не помню — где-то в Канаде (где оказался он самым крупным из всех младенцев, родившихся в этот день, что помогло ему через много лет с получением канадского — там, в Канаде, такое помнят и ценят, как выяснилось, — гражданства), коротко, с челкой, длинной и кривоватой, стриженный, худой, довольно высокий, сутулившийся, в ковбойке, все больше молчал, лишь изредка, глуховатым, негромким голосом, высказывая свои дельные соображения.

Он всегда в те поры на меня производил впечатление человека, все время к чему-то, находящемуся вдали, прислушивающегося, напряженно, внимательно, чутко, в какие-то неизвестные пространства и области тайные, всматривающегося, что-то в них для себя подмечающего, открывающего, возможно, чего-то важного ждущего.

Что он там слышал когда-то — далеко, совсем далеко, так далеко, что отсюда, как ни вглядывайся, не видно, — за Москвою, за Подмосковьем, за лесной глухоманью, за Волгой, а потом все дальше и дальше — за кордоном, совсем не лесным, но уже государственным, где-то в заграничной, неведомой жизни, в том краю, где родился он в сорок третьем году, в Канаде или, может, в других краях, но совсем не советских, отнюдь не режимных, не тоталитарных, как тогда говорили в кругах большей частью богемных, о нет, не в таких, где тоска сплошная, где из школы для дураков после скучных занятий выходят на приволье странные дети, где сгущаются темень и хмарь, чтобы между собакой и волком разногласий не возникало в час, когда на земле тишина, где портрет групповой смогистов, позабытый в общей тетради, через годы найдется случайно, чтобы знак озаренья в закате разглядел за Кремлем Палисандр, — что он слышал — там, за стеной, в беспредельном, немом отдаленье? — может, звук своей будущей прозы?

Некоторая его отстраненность от происходившего — почему-то к себе притягивала. Была она — вроде со странностью, с изюминкой, с едкой чудинкой.

Потому-то и озадачивала.

Порой. Далеко не всегда.

Но иногда, случалось, просто-напросто не замечалась.

Вообще — почему-то — никем.

Или почти никем.

Потому что немало шлялось к нам субъектов столичных — с приветом, и они разноробой вносили в наши сборища: их отстраненность устраняла лишь приструненность, то есть, вовремя их осаживая, мы умели справляться с ними.

Отстраненность Сашина — это, я скажу вам, совсем иное. Никакое она не чудачество.

В ней уже начиналось творчество.

Пробуждался голос в ней. Собственный.

Зарождалась в ней речь. Своя.

Чувствовалось, что в нем, внутри, в сознании, в сердце, в душе, идет непрерывная, скрываемая от всяких чужих, посторонних людей, даже порой от приятелей и друзей, большая работа — и действительно ведь, пройдя закономерную жизненную школу, близкую к школе, довольно суровой, любого из нас, он развился, позже, с годами, в очень своеобразного, стоящего особняком от прочих, и за границей, и в отечестве нашем, прозаиков и упрямо, с немалой твердостью, вопреки любым обстоятельствам, и плохим, и хорошим, всяким, каковыми бы ни бывали эти самые обстоятельства и чего бы они ему, в стороне от всех существующему, как привык он, впредь ни сулили, выдерживающего свою марку писателя, автора нескольких ярких книг, продолжая, впрочем, писать исполненные пленительного, ранимого, тонкого, чистого, как вода в роднике, лиризма и защитной, терпкой иронии, с грустью, спрятанной в ней, стихи.

Соколов Михаил Николаевич, Миша или же, по-домашнему и по-дружески, просто Михалик, внимательный, мне казалось, ко всем и всему на свете, воспитанный, скромный, спокойный, весьма и весьма образованный, таким тихим увальнем пристроившись где-то в сторонке, под общий немислимый шум, невозмутимо вычитывал только что перепечатанный на машинке, свежайший текст переведенной им знаменитой, сложной поэмы Томаса Стернза Элиота «Опустошенная земля».

Он покуривал сигаретку, щурясь, вглядывался в листы хорошей плотной бумаги, на белизне которой был отчетливо различим округленный, приятный шрифт его старой машинки пишущей, чье название отзывалось чем-то призрачным, заграничным и манящим — «Континенталь», и губы его, капризно припухшие, как у ребенка, но со взрослой, как ни крути, прилипшей табачной крошкой, шептали, чуть шевелясь: «Флебас-финикиец, мертвец уж две недели...», или «Что говорил гром...», или «Шанти шанти шанти», — и глаза его, вдруг потеплев, устало, довольно помаргивали, он понимал: получилось.

Несколько позже, как раз в те апрельские, тяжкие дни, когда меня вместе с ним будут громить на общем комсомольском, спешном, собрании исторического факультета, и по такому случаю туда специально прибудет возглавлявший в шестидесятых весь комсомол МГУ горец Руслан Хасбулатов, покинув для этого «саклю», как называли тогда его кабинет высокий в университетском здании высотном на Ленгорах, и выгонят и меня, и Михалика из комсомола, а потом из университета обоих нас исключат, за СМОГ в основном, а частично — за то, что пришлось отсидеть нам с ним, безвинно, из-за Губанова, из-за выходки пьяной Лениной и скандала с ментами ретивыми, вплоть

до драки, пятнадцать суток, — Михалик закончит, при мне, перевод и другой поэмы элиотовской, тоже известной, «Пепельная среда» и так же невозмутимо и крайне сосредоточенно будет стоять в сторонке, — покуда нас, пострадавших за правду, смогистов, героев, будут, с пеной у рта, бичевать и клеймить общественники, штатные стукачи и ярые комсомольцы, — вычитывая страницы, переписанные от руки, внося иногда поправки в свежайший текст и шепча какие-то важные строки, особенно те, которые, похоже, ему удались.

Лучших, должен прямо сказать, элиотовских переводов, чем выполненные Михаликом, я никогда не читал, и это, надеюсь и верю, подтвердят охотнейшим образом те люди, которые были знакомы с ними когда-то.

Прежде всех подтвердил бы это друг наш общий в те годы, Саша Величанский, знаток поэзии английской и американской, переводчик ее, будь он жив.

Хотелось бы и сейчас прочитать, хоть разок, эти тексты.

Но Михалик десятки лет всех друзей своих уверяет, что его переводы прежние, к сожалению, им утрачены.

Его, Михалика, редкостная, широкая образованность, знание языков, знание, настоящее, искусства, литературы, истории, философии, вызывали всегда у смогистов, особенно из губановской, не больно-то образованной, так, слегка, по верхам, компании, серьезное, с явным оттенком почитания, уважение.

Знаний своих он сроду не выставлял напоказ, предпочитая, в общении богомном, не очень-то им любимом, скорее вынужденном, в основном добродушно-сдержанные беседы о чем-нибудь общеизвестном, простеньком, для чего напрягать мозги малограмотным выпивохам и отчаянным балагурам вовсе не приходилось.

Михалик людей — щадил.

Не обрушивал на невежд все, что знал он, о чем размышлял.

Через годы мысли его воплотятся в серьезные книги.

Очень много есть искусствоведов, говорить хорошо умеющих, не умеющих только — писать.

Михалик — умел писать.

Речь! Он чувствовал русскую речь.

Свой он — в речи. В среде отзывчивой.

Дружен с речью. И — верен ей.

Эта верность — врожденная, кровная.

Ну а еще Михалик находился в родстве с Пушкиным.

Коля Боков, настороженный, с глазами того редчайшего голубого, небесного цвета, какой есть в бессмертной «Троице» Андрея Рублева и в живописи называется голубец, с довольно язвительным, трезвым, но с прививкой абсурда и склонностью к житейским фантазмагориям, крепким и цепким умом, изредка произносил философские парадоксы.

Он писал стихи, но уже начиналась и проза его, полная мысли, смятенной, трепетной, беспокойной, беспощадно-жестких оценок всего, что творилось вокруг, и вынесенного в подтекст, второго, подобного призыву, на самом же деле, нередко, важнейшего, основного, словно маску нежданно снимающего в карнавальной сумятице, плана.

В повседневности, полной бреда, он порою бывал способен на поступки необъяснимые, поражающие окружающих, остающиеся в человеческой, далеко не все из былого сохраняющей, будь она распрекрасною даже, памяти, не на годы, а навсегда.

Лет через тридцать пять после смогистских времен давнишний боковский друг, философ Аркадий Ровнер, возвратившийся из Америки, где прожил он вместе с семьей два долгих десятилетия, в Россию, в Москву, и стал преподавать здесь в вузах, писать свои новые книги, встречаться от случая к случаю со своими знакомыми старыми, с удовольствием вспоминал, как впервые он познакомился, в шестидесятых, с Колей.

Были они, рассказывал Аркадий, где-то в колхозе, на работах сельскохозяйственных.

Жили, кажется, в сельской школе, где рядами стояли кровати. Однажды, в пору вечернюю, после очередных трудов на колхозных полях, когда москвичи отдыхали, обратил Аркадий внимание на довольно странного парня.

Этот высокий, поджарый, белобрысый, голубоглазый парень сидел с ногами на своей немудреной кровати и читал по-немецки Клейста.

Группа ребят развязных, крепко, с избытком, выпивших, но тем не менее все же продолжающих выпивать достаточно бурно, тоже заприметила этого парня, невозмутимо читавшего, среди общего шума и гвалта.

Над ним, ни с того ни с сего, так, для забавы, начали пьяные в дупель ребята, с удовольствием явным, подтрунивать.

Потом — посмелей задевать.

Шутили, довольно грубо.

Нарывались, как говорится.

Парень сидел на кровати и продолжал читать.

Словно не слышал колкостей, шуток и едких словечек. Пьяные парни удвоили свой коллективный пыл.

Парень — не реагировал.

Сидел себе — и читал.

Парни утроили пыл.

Попахивало скандалом.

А то и грядущей дракой.

Аркадий напрягся, встревожился.

Мало ли что бывает!

И тогда белобрысый парень, ставший объектом внимания пьяной, зловещей компании, точно так же невозмутимо, как и прежде, крайне спокойно, аккуратно закрыл свою книгу и отложил ее в сторону.

Потом он встал на кровати во весь рост — и стал говорить. Это была — матерщина.

Да еще какая! Отборная.

Виртуозная. Многозначная.

С блеском. Роскошная. Дивная.

Ничего подобного сроду не слышал доселе Аркадий.

А ребята — задиры пьяные — как открыли сразу же рты от безмерного удивления, так, всей гурьбой, трезвеющей постепенно, и просидели с широко открытыми ртами на протяжении всей речи парня, решившего по-своему объясниться с распоясавшейся компанией.

Матерился он тридцать минут.

После этого в помещении, словно ветром продутым свежим основательно, воцарилась небывалая тишина.

А потом — компания пьяная, в полном составе, встала и приблизилась, робко, неловко, к наконец замолчавшему парню — и почтительно попросила у него, героя, прощения, за то, что, выпивши будучи, мешала ему читать, и выразила свое искреннее восхищение матерщиной на грани фантастики.

Парень кивнул им нехотя, снова достал свою книгу — и углубился в чтение.
 Это и был Коля Боков.
 И все его — зауважали.
 Аркадий же — с ним подружился.
 Такой вот случай. Вполне для Бокова — характерный.

Немудрено, что вскоре напишет он повесть о том, как украли из Мавзолея не что-нибудь там, а голову Ленина. То есть сразу начнет — с головы. В данном случае — с головы вождя, превращенного по желанию коммунистов, как в Египте, в мумию. То-то было с этой головой приключений в Колиной повести!

Любопытно вот что: другой приятель боковский давний, поэт, герой целины, звезда фестиваля всей молодежи и всех студентов, проведенного с должным размахом когда-то в Советском Союзе, лауреат комсомольских, значительных в прошлом, премий, автор песни сверхпопулярной «Едем мы, друзья, в дальние края...», написавший тексты и прочих известных советских песен, человек общительный, быстро и легко менявший и жен, и друзей, и взгляды, и мнения, бессменный руководитель известнейшего московского, позабыл я нынче название, литературного, уж точно, поскольку там собирались тогда литераторы, то есть пишущие стихи или прозу люди, различные и по возрасту своему, и по уровню их писаний всевозможных, объединения, Эдмунд Иодковский, Эдмунд Феликсович, для солидности, среди своих — просто Эдик, надувавший почему-то году в шестьдесят седьмом пойти учиться на курсы журналистов телевизионных и однажды, для пробы, наверное, допущенный к передаче, во весь немалый свой рост по-маяковски стоя на фоне высотного здания на площади жуткой Восстания и показывая на этот характерный символ советского помпезного зодчества правой, как на памятниках Ильичу-ростовичку (то есть Ленину, поясню вполне сознательно, для не знающей, кто есть кто, современной, кайфовой, компьютерной, не читающей книг молодежи), вытянутой в пространство, в светлые дали, рукой, сказал, услышанным будучи всею страной, от Карпат до Тихого океана, знаменательную, эпохальную, словно бомба, в эфире взорвавшаяся, лаконичную, броскую фразу: «Как говорит один мой знакомый хороший писатель, архитектура — это застывшая... — тут он помедлил, дав понять, что это не музыка застывшая, в формулировке, решительно всем известной, и выпалил громко: — Политика!» — после чего с неслышанным треском и долгим грохотом, породившим незамедлительно многократное, гулкое эхо, разлетевшееся по столице, а затем и по всей стране, от рубежей ее западных, в двух шагах от Европы, где мирно правил бал мировой капитал, до рубежей восточных, азиатских, тех самых, где «в струны великих, поверьте, ныне играет Восток», по Хлебникову, от северных рубежей, с медведями белыми и полярными вечными льдами, до южных, с горами, где ищут искони мумии на скалах, наблюдая, как в небе парят большие орлы, рубежей, вылетел с телевидения и с той поры никогда на советском телеэкране больше не появлялся.

Фраза была — боковская.

Что-то было в Бокове этакое, провоцирующее дальнейшие, необычные, непохожие на другие вокруг события, дававшее почему-то развитие непременно более чем нелепым, фантастическим или странным, а то и прямо-таки мистическим, не иначе, такова была суть их, историям.

Исходил от него, безусловно, этакий, осязаемый даже на расстоянии, колкий, с подвохом, с душком, то ли нерв, то ли ток непонятный, — вроде бы подождет потихоньку, таясь от свидетелей вероятных, что-нибудь простенькое, пустяковое, для других

далеко не сразу заметное, например, какую-нибудь бумажку, измятую, старую, да и бросит, не просто на пол, а туда, где полно предметов, к моментальному возгоранию способных, вслед за которым вспыхнуть запросто может пожар, и сам отойдет в сторонку — и смотрит: а вдруг загорится? — должно загореться! должно! — и точно, от этого действия что-нибудь да загоралось.

У меня самого была в шестидесятых бредовая, такая, что дальше уж некуда, по абсурдности и по дикости грандиозной своей, история — связанная, разумеется, с белобрысым, голубоглазым, философствующим помаленьку и взрывающим изнутри жизнь советскую Колей Боковым.

Им, писателем-поджигателем, им, любителем ситуаций нестандартных, с занозой, по-боковски, по существу, спровоцированная.

С прицелом ехидным — на будущее, с прикидкой где-то внутри коварной: а вдруг запылает?

Об этой давней истории я еще расскажу когда-нибудь, позже, в другой своей книге.

Арсений, Арсюша Чанышев, чудеснейший, милый, сумбурный, с взлохмаченной шевелюрой, тихий своей, особенной, полной дум ночных, тишиной, взирал на то, что творилось вокруг, с изумлением некоторым, даже отчасти растерянно, поскольку очень уж все было сейчас непривычным для него, человека ученого, не то чтобы очень уж книжного, нет, задумчивого, скорее, задушевного, в этой своей, тяготившей его, учености, но все-таки — привыкал, вживался, как мог, ощущая себя своим здесь, в среду, — и в негромких тирадах его уже иногда проскальзывало негромкое, глуховатое, без неуместных фраз торжественных, без громогласных высказываний, напоказ, чтобы все ему здесь внимали и хоть что-нибудь в том понимали, что хотел он сказать, обращаясь к молодежи, совсем зеленой, по сравнению с ним, одобрение.

Человек осторожный, замкнутый, всегда и везде одинокий, на сей раз был он действительно, так считал он, — среди своих.

И пускай был он старше нас, и значительно, старше меня на двадцать лет, например, пускай он принадлежал к совсем другому, запуганному сталинскими временами, выживавшему в непростых условиях поколению, — это уже не имело для него и для прочих значения.

Арсению вправду нравилось постоянно общаться с нами. И не просто ведь, по причине приязни дружеской, нравилось.

Для него это сразу стало просто необходимостью.

Он читал нам свои многочисленные стихи, отменно хорошие, абсолютно его, узнаваемые с полуслова любого, такие чанышевские, фамильные, так я хочу сказать, вместо привычного «фирменные», что не совсем подходит именно для Арсения, очень личные, очень похожие на него самого, стихи, которые начались для него еще после войны, в сороковых годах, и писались в течение всех последующих, сменяющихся, одно за другим, чередой беспокойной, десятилетий его сложной, пламенной жизни.

Он читал нам эти стихи, в основном предельно короткие, афористичные, так и просящиеся порой в поговорку, чтоб в ней остаться, — и записывал их иногда, для кого-нибудь из приятелей, на крохотных, подвернувшихся под руку, после чтения, случайных листочках, — тексты вполне на них умещались.

У меня сохранились вроде бы стихи его, прямо античные, по своему лаконизму и дивному обобщению, записанные для меня на обороте фольги, вынутой им из пачки сигарет моих, — где-то в компании, многолюдной и слишком шумной, разговорился Арсений со мною вдруг по душам — и стал мне читать потихоньку своим неизменно

картавящим, приглушенным, слегка грассирующим, западающим в память, голосом (сам выговор, старомодный, московский, его, звук, тон — уже ведь неповторимы!) новые, незадолго до встречи нашей богемной, написанные стихи, и они мне очень понравились, отчего Арсений расцвел и тут же, прямо на месте, пожелал их переписать, по горячим следам, для меня, и немедленно их накорябал своим плутающим, скачущим, угластым, зигзагообразным, почему-то напоминающим врачебную кардиограмму, единственным в мире, почерком, на обороте фольги серебристой, вынутой им из пачки моих сигарет, за неимением временным другой, подходящей, бумаги.

В таких вот порывах искренних и поступках безотлагательных, раз — и сделано, и чего там размусоливать, — весь Арсений.

Читал он стихи и лирические, но и это была философская лирика, очень чанышевская, настолько оригинальная, что чего-нибудь аналогичного больше я не припомню, хотя и читал и слышал в жизни своей, наверное, необычной, великое множество поэтических, так назову их, по возникшей прихоти или же по капризу мгновенному, текстов.

А еще Арсений, старинный, старший мой друг многолетний, Арсений свет Николаевич, преподавал на кафедре философии в МГУ и лицом был вполне легальным, приметным, официальным, не без некоторой солидности.

Занятно, что кое-какие приятели и знакомые мои — у него учились.

Например, тот же Коля Боков, который Арсения очень любил всегда и уважал.

Да и как его было, действительно, не любить и не уважать?

Был он достопримечательностью своей, вроде дома родного ставшей с годами кафедры и любимцем всего факультета.

Он читал, семестр за семестром, студентам университетским лекции, принимал, когда начиналась сессия очередная, зачеты и экзамены, ставил оценки, корил нерадивых, приветствовал старательных, словом, был опытным преподавателем, писал статьи философские и научные сложные книги.

Он воспитывал учеников.

У него был, как я понимаю, настоящий педагогический дар, большая редкость, от Бога.

Те, кто в былые годы у него учились, уверен я, это всенепременно и охотно сейчас подтвердят.

Он много доброго сделал — на ниве нашего, стойкого, в бедах и в горестях выжившего, закаленного просвещения.

Без него и в университете-то чего-то хорошего, нужного, крайне важного, не доставало бы.

Звена какого-нибудь, без которого — ну никак невозможно существовать.

А может быть — ясного, тихого, благодатного, долгого света.

Сколько лет живу я в Москве — столько лет и Арсений, надо же, все там же, в университете, потихоньку преподает.

И до этого — преподавал.

И сейчас, а ему — за семьдесят, преподает. Привык.

Да к тому же еще, это факт, он просто незаменим.

Некем его заметить.

Другого такого — нет.

И не будет. Уж так выходит.

Есть — Арсений. Один он такой.

Духовидец. Хранитель света.

Но основная, главная, важнейшая его жизнь — была там, в его стихах.

И этот громадный свод разнообразных текстов — несколько чемоданов, говорил он, ими набиты, и девать ему это добро (со временем все прибавляющееся, поскольку, труженик вечный, он пишет все новые вещи, и число их растет, разумеется, и все приходится складывать в эти самые чемоданы, и они всего не вмещают, и надо еще во что-нибудь свои сочинения складывать, ворчит он порой, беседуя со мною по телефону и сетуя на обстоятельства, по-дружески, по-стариковски, по-чанышевски, то есть так, как ему одному дано говорить, обо всем на свете), по причине условий житейских трудноватых, решительно некуда, — и это не только стихи, но и проза, очень хорошая, и философские, просто замечательные, работы, но прежде всего, конечно, прежде всего, стихи, — и есть настоящий Чанышев.

Откроют еще когда-нибудь все эти чемоданы.

Издадут, я уверен, стихи.

Откроют еще, обязательно, и поэта Арсения Чанышева.

И явится миру Арсений — во всем своем непреходящем, величественном значении, для поэзии и России.

Стихи он свои подписывал псевдонимом — Арсений Прохожий.

У него и судьба — необычная.

И даже в самом его рождении, в появлении на свет, каком-то особенном, не таком, как у всех людей, в двадцать шестом году — есть нераскрытая тайна.

Отец его, репрессированный и погибший в жестокое, сталинское, беспощадное к людям время, был высоким духовным лицом. И его фамилия — вовсе, как сказал мне Арсений, не Чанышев.

Но Арсений, наш славный Арсений, так уж вышло, что делать, — Чанышев.

Прохожий. Профессор. Философ.

(Собиратель извечных вопросов?

На любой — найдет он ответ.)

Но прежде всего — поэт.

Саша Урусов, автор вещицы некоей, в прозе, «Крик муравьев далеких», поблескивая очками, кривлялся, острил и сам острогам своим усмехался.

Небольшого росточку, верткий, этакий востроносенький, появился он в нашей компании как-то вдруг, неизвестно откуда и потом неизвестно куда, тоже как-то неожиданно, исчез. Говорили мне, впрочем, недавно, что видели муравьев его — изданными, не на русском, на английском уже языке, в каком-то западном сборнике, мало ли их выходило, современной прозы. Вполне вероятно. Бывает всякое.

В СМОГе был он сбоку припека.

Помню его: нос птичий, то ли утиный, то ли гусиный, из-под очков, тонкие губы извилистые, складывающиеся в язвительную улыбочку, вкрадчивый голосок, одет во что-то неяркое, серенькое, темноватое.

Был — и сплыл. К муравьям ушел.

С ним лениво пикировался Марк Янкевич, писавший под псевдонимом «М. Эдвин», автор авангардистской прозы «Метапсихоз».

Прозу его давнишнюю совершенно сейчас не помню.

А вот юмора было у Марка предостаточно. И еще — добродушно-грустной иронии.

Мы с ним в шестидесятых довольно тесно общались. Дружили, можно сказать. Были мы с ним приятелями — так, пожалуй, вернее.

Красивый малый, на дамочек впечатление производивший просто неотразимое, смугловатый, с седою прядью в черных вьющихся волосах, со вспыхивающим фонариками подкожными, по смуглоте, румянцем на гладких щеках.

Женился Марк на девице, словно вышедшей в явь советскую из андерсеновских сказок, белокожей, изнеженной, томной, узколицей, голубоглазой, с волосами светлыми, длинными, в одеяниях легких, воздушных, шелестящих оборками, складками, кружевами щедро украшенных, отдающих духами заморскими, дочери адмирала, бывалого волка морского, по фамилии Августинович, нашей прелестной сокурснице.

После свадьбы стрелял он из найденного адмиральского пистолета в открытую настежь форточку, просто так, чтоб слегка поразвлечься.

Смогистом был он активным.

Участвовал и в демонстрациях.

Нес, неизвестно зачем, просто так, скорее всего, чтоб хоть чем-нибудь, ненадолго, между делом, пока что, заняться, какие-то вызывающе антирежимные лозунги в сторону ставшего крепостью, ждущей штурма смогистского, «гадючника», ненавистного всем нам, Центрального Дома литераторов, ЦДЛ, по Садовому, в толпах ментов и зевак окрестных, кольцу.

Потом все это ему, видать, надоело просто.

Стал он искусствоведем. Так ему захотелось.

Любил хорошо одеваться. Каждому ведь — свое.

В смогистской смурной компании выделялся своим ухоженным, аккуратным, чистеньким видом.

Срабатывала и роскошная, седая, крученая прядь.

Любил чистить обувь свою. Каждый раз — до зеркального блеска.

Идем с ним, бывало, по улице. Говорим о чем-то своем. По сторонам глядим. Жизнь, как известно, — всюду.

Марк чистильщика завидит издалека — и сразу же, забыв обо всем на свете, летит, как на крыльях, к нему.

Чистильщик поработает щетками и бархоткой — ботинки сияют. Солнце отражается радостно в них.

Марк расплачивается. Любуется своей сверкающей обувью. Доволен. Много ли надо человеку, чтоб в мире нашем довольным хоть чем-нибудь быть!

Идем с ним дальше. Беседуем. На весьма интересные темы.

Впереди — ну откуда он взялся? — чистильщик очередной.

Марк — снова к нему. Мгновенно. Чистить обувь свою.

Опять умиленно любитесь начищенными ботинками.

И так вот — чтоб обувь сияла всегда и везде — постоянно.

Чистить ботинки. Чистить! Чтоб солнце сверкало в них.

Чистильщики — довольны.

И Янкелевич — доволен.

И солнце довольно — есть куда посмотреться ему.

Чистота ботинок была для Марка — вызовом яви.

Элементом совсем другой, возможной в грядущем, жизни.

Обеспеченной жизни. Устроенной.

Какой в девяностых, кстати, и дождался он. Се ля ви!

Любил приятель мой Марк хорошенько поесть и выпить.

Постепенно совсем отошел от прежних своих товарищей.

Маленький, очень застенчивый, светленький, словно выцветший на солнце летнем, палящем вовсю, полевой василек, скромный Сережа Морозов, заговорив с Губановым,

быстренько перелистывал тетрадку свою со стихами — хорошими, оказалось. Был он тихим, как сон счастливый, никогда никуда не лезущим, на рожон или в стаю общую, чтоб своим в ней стать, пареньком.

Когда он, для всех неожиданно, читал стихи в ЦДЛ, я удивился даже — надо же, в кои-то веки Сережа Морозов — на сцене!

И стихи мне тогда — понравились.

Только быстро отстал он от шумных смогистов, отъединился.

Может, с кем и общался, не знаю. Наверняка общался. Скорее всего, с Борей Дубиным.

Я видел его все реже, а потом и вовсе исчез он куда-то из поля зрения.

В тишину свою удалился. В поле творчества. Там, наверное, жил. Стоял где-нибудь на солнышке.

Стал — цветком. Полевым васильком.

Художник Недбайло, Коля, Николай, Николай Михайлович, тогда еще безбородый, худой, энергичный — настолько, что дальше действительно некуда, в старых, протертых, коротких, выше щиколоток, брюках, которые я видел потом на нем лет двадцать, не меньше, подряд, парень сметливый, тертый, очень даже себе на уме, нашедший в смогистском брожении и движении всеохватном золотую поистине жилу, миллионную, неиссякаемую, многолетнюю, для себя, правой рукой откидывая со лба запорожский чуб, работать ему мешающий, левой рукой рисовал эффектнейшую афишу.

Изредка он, умелец по части таких созданий, отрывался от важного дела, чтобы высказать принародно какое-нибудь необычное, броское и, по его давнишнему, личному мнению, разумное замечание — или даже, пускай послушают, свой собственный афоризм.

Например: «Если нечего делать — поточи пилу». Каково?

К нему, золотое слово поучительно изрекающему, изредка, сквозь всеобщий, ни на миг не смолкающий шум, иронически, с юморком, добродушно, каждый по-своему, прислушивались, но не больше, — дел хватало у всех.

Он был на несколько лет, ненамного, постарше нас и страсть как любил порой показать, подчеркнуть, что уж он-то — куда разумнее, опытнее некоторых приятелей да еще, уж само собою, и похитрее будет.

Хохол! — подчеркивал он, подняв назидательно палец указательный и косясь на всех, из-под чуба, нависшего над бровями, дугами выгнутыми, наблюдательными глазами.

Целая, с Фудзияму величиной, наверное, так могло показаться любому из пришедших сюда, к смогистам, новобранцев, гора его графики возвышалась, в центре внимания находясь у всех нас неволью, на столе, и все, кто желал, все, кому было только не лень, перебирали эти ватманские листы разного, то посolidнее, то поскромнее, формата, на которых густо роились и всюю меж собой перемешивались преимущественно кривые, сикось-накось, и все тут, дома, оплывающие волнами, восковыми и парафиновыми, на узорчатые подсвечники, догорающие, разгоревшиеся или только что кем-то зажженные, вверх торчащие белыми столбиками с язычком огонька наверху, символически грустные свечи, гривастые и хвостастые лошади на лугах, бревенчатые деревенские, с окошками редкими, избы, северные церквушки с покосившимися крестами, яблоки, аппетитные, круглые, как на подбор, девицы голые, с телом одалисок, с длинными шеями, с глазами, наивно и томно, эротично, призывно раскрытыми, широко, в половину лица, плюшевые, полукитчевые, симпатичные с виду, мишки, морщинистые старики, наивные пастушки, облетающие ромашки, а также сюрреалистические и абстрактные серии — «Торжествующая нечисть» и «Сны моего разума».

Конечно же, по большому счету, все это было — третий, пожалуй, с натяжкой, а то и десятый сорт, изделия руку набившего, старательного ремесленника, но никак не искусство, в котором всегда ощутимо высокое, космическое горение.

Но все мы как-то привыкли к автору плюшевых мишек и глазастых девиц, изделий бесчисленных, выполненных аэрографом, всем в новинку, лихо, с шиком, на фотобумаге.

Парень он был компанейский, хваткий, сообразительный. Любил выпить сам хорошенько и не забывал угостить пришедших к нему приятелей.

И даже я, человек, очень требовательный тогда к тому, что вокруг меня сочинялось и рисовалось, закрывал глаза почему-то на значимость не условную, но подлинную, действительную, обильных изделий Колиных.

Утешал я себя, бывало, тем, что Недбайло — трудяга.

И он действительно вкалывал.

Конечно, был он способным человеком. Да вот не развился. Застрял на своем пути. На своем ведь, не на чужом каком-то. Застрял — понапрасну. Застрял — совершенно зря.

Все, что найдено было им, то, немногое, — из того, что могло бы ему в дальнейшем на пути его въявь открыться, — вполне, по неясным причинам, устраивало его.

И он попросту, с жилкой практической, взывавшей в нем, вопреки прежним высоким помыслам, начал, мастеровито, сразу его тиражировать.

Делал свои картинки — ну прямо как под копирку.

Увидит он в мастерской на Масловке или на выставке очередной своей — вот это понравилось зрителям.

Ага! Значит, надо срочно произвести такое же или ему подобное, ну, пусть, хорошо, с вариациями небольшими, произведение, а на самом-то деле — изделие.

Тогда, глядишь, его точно купят. Как и предыдущее.

Расчет в нем был, это ясно.

Трезвость была. Смекалка.

Ладно уж, рассуждал я, каждый живет по-своему.

Как умеет он, так и рисует.

Как приучился, так и зарабатывает. Зато — независим. А это важно. В наше время. В любое время. Независимость — туз козырный. Независимость — крепкий щит.

И парень достаточно вроде бы хороший. Так мне казалось.

И сам я довольно скоро — просто к нему привык.

Ну, существует себе. Общаемся иногда.

Рисует. И выпивает. Крепко. Потом рисует. И так вот, свое рисование с выпивкой чередуя, выпивку с выставкой, выставку с новым своим рисованием в материнской, на Верхней Масловке, небольшой, обжитой мастерской, помаленьку, а то и рывками, к самоличной известности движется, не смогистской, из года в год.

Губановский друг Володя Бережков привычно настраивал гитару, придирчиво вслушиваясь в звучание каждой струны.

Песни его, на стихи губановские и на собственные тексты, дыхание эпохи выразить были должны.

Художник Василий Яковлевич Ситников, с бородой косматой, в дряхлой и драной одежке, в чеботах старых, человек очень умный, бывалый, понявший давным-давно, что внешняя, впечатляющая, сознательная юродивость — надежное русское средство самозащиты, показывал свои ювелирно написанные, поражающие сочетанием озор-

ства, лукавства и чистой, бесхитростной первозданности, эпически беспристрастной как будто бы, но с лиризмом, свободным и светлым, холсты.

Он, создавший школу художественную, собственную, уникальную, обучивший, благословивший и выведший в люди многих живописцев наших, был в СМОГе очень кстати и очень вовремя.

А в квартиру уже вносили свои холсты и картоны Тарон Гарибян, своевольный, пышущий буйной энергией, первобытной какой-то, дикой, показаться могло сначала, коренастый, измазанный красками, резкий, взвинченный человек, но улыбка вдруг оживала на губах его, и тогда сквозь лицо его в жесткой щетине, сквозь глаза его с жарким огнем в увеличенных, черных зрачках, постепенно как-то высвечивались боль, надежда, любовь, доброта, и душа его, пусть и смятенная, но крылатая, воспаряющая к звездам ясным, к высям небесным и глубинам неведомым в них, — и еще кто-то — кажется, два Коли, один — Калугин, а другой, вслед за ним, — Сенкевич...

Словом, жизнь буквально кипела.
Интересно было — нам всем.
СМОГ. Хорошее дело.
Наверное. А затем...

Взгляд в будущее. (В грядущее.
Так торжественней.) Чуда ждущее?
Былое — где-то встречающее?
В настоящем — души не чающее?
Не знаю. В грядущем — встретимся.
Там ждут от нас — новостей.
Когда-нибудь мы — отметимся.
В списках его гостей.

Леонид Губанов, поэт, проживет ровно тридцать семь лет, будучи твердо уверенным, что отпущен ему для жизни земной, горемычной, юдольной, такой вот именно срок.

Жизнь его неизменно будет поражать, восхищать, ужасать всех, знавших его когда-то и хорошо, и поверхностно.

Он напишет свое собрание, большое, стихотворений и поэм, до сих пор существующее не в виде изданных книг, но, как и прежде, в списках.

Возможности издаваться на родине, только так, вовсе не за границей, при жизни он не получит.

Неурядицы, горести, беды соберутся в единый клубок, из которого больше не будет для него никакого выхода.

Когда в сентябре восемьдесят третьего года, то есть тогда, когда и предрек он, заранее, сам себе, мать губановская вернется, после нескольких дней отсутствия на даче своей, домой, сына увидит она уже не живым, а мертвым.

Точной даты Лениной смерти — почему-то не установят.

Условно доселе считается — девятое сентября.

Весть о кончине поэта вырвется из московской, в кунцевской хмари, квартиры и облетит весь мир.

На Западе выйдут стихи, очередные издания, появятся некрологи, статьи и воспоминания.

На родине — крохотный сборник стихов объемом в один авторский лист — семьсот, всего-то, трагических строк — вроде бы вознамерятся издать в перестроечном, восемьдесят девятом, сумбурном году.

По кускам, клочками, образчиками, по-советски, — с грубым вторжением во все, без разбору, тексты, с искажениями и купюрами, вразброс, по разным изданиям, поначалу еще с осторожностью, а потом уже побойчее, появятся публикации многострадальных Лениных стихов, и даже, представьте, книжка отдельная выйдет, но такая, что лучше б она вовсе не выходила, и журнал читаемый «Знамя» даст подборку, и «Зеркала», альманах какой-то, из бойких, перестроечных, и так далее, и молва разлетится: а знаете, был в России такой поэт...

Человек — нежданно умрет.

И друзья, и недруги, кажется, осознают, сколь велика и трагична эта потеря.

Поэзия — будет жить.

Леня, со всеми своими достоинствами, недостатками, странностями, психушками, выходками, безумствами, наитиями, прозрениями — станет легендой. Отечественной. Очень русской. Еще одной.

В этой легенде все сложится бесплотно — вроде бы благополучно, а на деле вовсе не так.

Миф — будет. Это Губанов.

Тот, что жил, что писал стихи.

Тот, из СМОГа. Который — смог.

То есть — сумел. Стать легендой.

Мифом, который — помнят.

Но стихи его, все огромное, удивительное наследие, — для потомков, он верил, — толком так никто и не будет знать.

Что он, собственно, сочинил?

Где тексты? Целы ли они?

У кого конкретно находятся?

Как можно их прочитать?

Вопросы, сплошные вопросы.

Без ответов, увы, зачастую.

Без просветов. Почти. Не всегда.

Путаница, при жизни сопровождавшая Леню, будет сопровождать его и после смерти. Преследовать. Покоя ему не давать.

Что за судьба такая?

Почему, год за годом, будет сбываться давнишнее Ленино: «Знаю я, что меня берегут на потом?»

Тридцать семь с хвостиком лет этому «на потом».

Все потом да потом. Когда же придет долгожданное «ныне», «теперь»? Надеюсь, придет.

Чувствую: скоро. Пора бы!

Изданный, прежде всего грамотно, добросовестно, с любовью, с должным отбором, Губанов — станет легендой, о которой не только услышать можно будет, но если стихи его и есть настоящий Губанов, которую можно будет многим увидеть, воочию.

То есть с вышедшей Лениной книгой с глазу на глаз, наедине, прочитать наконец стихи.

Приходи, приходи к читателям, губановская, долгожданная, большая, серьезная книга.

Откройтесь людям, стихи.

Губанов — поэт от Бога.

Поэзия — будет жить.

Батшев, слишком уж примелькавшийся в Москве и кое-кого раздражавший, уедет в Сибирь, в ссылку, «за тунеядство».

Там будет писать стихи и весьма широко почему-то публиковаться в газетах.

Навестит его там — Иодковский.

Навестит его — Вера Лашкова.

Считалось тогда: он страдалец. Потерпевший за правду. Борец. За какие-то убеждения и возможные идеалы.

(Это позже бывший страдалец превратится в псевдострадальца.

Это позже правозащитники будут знать: он сотрудничал с органами.)

Краснощекий юнец в Сибири поведет себя энергично.

Переписку наладит обширную с приятелями столичными.

Даже вроде бы женится там.

Вернувшись в Москву, незаметно, постепенно, сойдет со сцены.

Он оставит стихи. Оставит. Не для таких, как он, краснощекий, не для него, прямо скажем, это занятие.

Не следует путать призвание с целенаправленной, трезвой весьма и очень расчетливой, активной, в советском стиле, к тому же сомнительной, деятельностью, самого разного рода, общественная ли она, или еще какая, — та, например, о которой намекали мне поначалу, а потом и уже в открытую говорили чекисты матерые на былых лубяньских допросах, — то есть просто губительная тогда, для его знакомых, и чрезвычайно полезная, для известных органов, деятельность.

Политикой не занимался я сроду, как всем известно.

Хотя и знал, разумеется, хорошо, а порой даже близко, правозащитников некоторых.

К ним-то как раз и стоит серьезно сейчас прислушаться.

Они — люди очень знающие, в подобных вопросах сведущие.

Они и могут внести ясность необходимую в разнообразную батшевскую, в том числе и в продажную, деятельность.

Говорить об этом — противно.

И достаточно тяжело.

Но кому-то ведь — надо сказать.

Он оставит стихи. Оставит? Значит, прежде всего, не будет с ними лезть, везде, во все щели и дыры, включая черные, и читать их, на каждом углу.

Но насколько я не сомневаюсь, что при первом же подходящем, для него, бултышонка, удобном, с обязательной выгодой, случае, опусы он свои, пусть и не все, частично, пусть и с некоторой оглядкой, на кого-нибудь и на что-нибудь, пусть с опаскою, не без этого, но непременно издаст.

Иначе ведь просто быть не может. Вот в чем печаль.

Он устроен так. Запрограммирован.

Это — болезнь. Поэтому она где-нибудь да выпустит свои щупальца, расплодит свои коварные вирусы.

Ничего не поделаешь с этим.

Пусть это и графомания, но она пожирает его.

Этакое чудовище.

Из Гойи? Может, из Босха?

А может быть, даже из МОСХа.

Не все ли равно теперь?

(Было сказано в свое время:

«Однажды Босх явился в МОСХ. Случайно. Увидел живопись — и оторопь взяла художника. Соцреализм есть тайна, от коей в ужасе бежал он. Ну, дела!..»)

И якобы навсегда оставив стихи, в период междувременья он их куда-нибудь все равно да сунет, уж где-нибудь, хоть на бумаге клозетной, хоть на обоях, да тиснет.

На всякий случай. А вдруг?

Впрок. Чтобы так вот — отметитья.

Вдруг да купится кто-нибудь из невежд современных на них?

Или, может быть, кто из людей посolidнее, посерьезнее обратит на это внимание?

Вряд ли этого он дождется.

Ибо вся его писанина, зарифмованная и без рифм, это просто — псевдостихи.

Или, вспомнив повальное «как бы», скажем проще: как бы стихи.

Изредка, потому что ну страсть как охота печататься, станет он публиковать, под псевдонимами разными, прозу юмористическую. Никогда ее не читал.

Вроде бы — все же напишет и вроде бы тут же утратит воспоминания некие, сомнительные, о СМОГе.

Напишет. Без сомнения. Предвзятые. И лживые. Свои. Воспоминания. Так называемые. Походить в героях — ужасно хочется. Вот потому — напишет. Давнишний зуд ему сдержать куда как сложно. Намного проще — липу накатать. Он это сделает. Уверен в этом я. Как говорится, поживем — увидим.

Заочно вроде бы окончит ВГИК. Потом работать вроде будет в новом жанре: уже не как смогист и сочинитель стихов, но как, представьте, сценарист документального кино. Вот так. Бывает. И не такое, а куда похлеще, бывает. Бат в стихах получит мат. Но в прочих жанрах — черт его собрат. Бесенок лживый, он уедет за границу, в Германию. Надеюсь, не случится его увидеть. Хватит. Надоел. Есть Божий суд. И есть всему предел.

Кублановский Юра окончит МГУ, по начальной, наверное, благосклонности личной, продуманной наперед, в деталях, судьбы и по собственной сообразительности, женившись на Петуховой Ирине и переведясь на вечернее отделение, чтоб спокойнее было ему в мире сложном существовать, чтобы в тень уйти, раньше нас с Михаликом Соколовым.

Потом судьба с каждым годом становится будет — по странным, слишком частым его утверждениям — все суровее, и ему все труднее будет — опять-таки по его мифологии, сделанной продуманно, биографической, — распутывать в поте лица ее ременные, крученые, петли, до той поры, покуда из петель этих не сплетется вдруг пресловутый и очень уж символически выразительный гордиев узел, и придется ему тогда делать выбор, единственно верный.

Он выполнит, в рамках своих, личных, задач и возможностей, довольно большую работу совершенствования духовного, сформируется он, с учетом некоторых своих способностей кое к чему житейскому, бытовому, и трезвейшего, с холодком и расчетом, взгляда на вещи, только нужные, — как поэт.

Вынужден будет скитаться по городам и весям, без угла, еле-еле сводя концы с концами, бедняжка, вроде бы, потому что никогда я его таким уж явно бедствующим и страдающим так, что дальше ну просто некуда, караул, да и только, не видел, не припомню что-то такого, но зато вспоминаю отчетливо, что всегда и везде, где бы он, временно, по привычке, не задерживаясь подолгу на одном каком-нибудь месте, ни жил,

художник свободный, и кем бы он ни работал, как-то ловко, быстро, умеючи, даже с некоторыми удобствами и явными преимуществами, по сравнению с прочим народом богемным, умел он пристраиваться — и писать, писать потихоньку свои новые циклы стихов.

Он увидит, раньше других людей смогистского круга, единственную свою на родине публикацию — вроде бы основательно изуродованную подборку в альманахе большом, ежегодном, «День поэзии», напечатанную на страницах издания этого с помощью доброжелательного к молодежи Бориса Слуцкого.

Помню, как мне Аркадий Пахомов рассказывал, с юморком едковатым, об этом событии.

Пришел Кублановский к Слуцкому. Стихи свои мэтру принес. На суд. Чтоб услышать мнение поэта известного, чтимого, с огромным жизненным опытом и любовью к литературе, известной решительно всем, о собственных сочинениях.

Тот посмотрел их и спрашивает:

— Скажите, а кто еще из молодых поэтов сейчас хорошо пишет?

Куб, с надеждой глядя на мэтра, в ту же секунду ответил:

— Больше нет никого хороших. Лучше меня никто, поверьте, сейчас не пишет.

За что и был удостоен милости наивысшей — публикации в альманахе.

Поточнее и поподробнее — узнавайте, если хотите, если когда-нибудь возникнет у вас желание, по телефону или нанеся визит к отставному, заслуженному смогисту, хранителю многих тайн, знатоку повседневной жизни богемной, в диапазоне от прежних до нынешних лет, Пахомову, — не стесняйтесь, не теряйтесь, пока не поздно, пока он еще настроен, временами, на разговоры, пока еще, седобородый, седовласый, от ждет общения с подростками, незаметно и стремительно, поколениями, — все, что узнать желаете, о ком-нибудь и о чем-нибудь, что было в прошлом и сплыло, но след оставило в памяти у некоторых людей, спрашивайте у Аркадия.

Он, пожилой реликт, и не такое знает.

Его и хлебом порою не корми, но дай рассказать какую-нибудь занятную историю литературную, байку, легенду, притчу, бывальщину, анекдот.

(А вот вам и анекдот.

Фирменный. От Пахомова.

Как известно всем, Кублановский в молодости, да и позже, в послесмогистские годы, частенько общался с поэтом старшего поколения, наставником и покровителем давним своим — Вознесенским.

Однажды, под настроение, из симпатии, видимо, к мальчику рыбинскому, превратившемуся в солидного, грузного дяденьку, московского литератора, тогда еще не матерого, но на дороге верной к этому состоянию, пригласил Вознесенский Куба на свой, по идее, роскошный, звездный творческий вечер.

Билет ему выдал заранее, даже на два лица.

А Куб взял с собой Пахомова.

Аркаша был по традиции, многолетней, стабильной, выпивши.

Перед началом вечера приятели по привычке, да еще потому, что негде больше было курить, а подыметь хотелось перед началом вечера, курили вдвоем в туалете.

Допил там, разумеется, поскольку ему без этого было никак нельзя, Аркаша Пахомов свой, тогда еще традиционный, покуда с годами он не перешел на водку, а то и на спирт, портвейн.

Правда, не весь портвейн. Половину всего. А другую половину, весьма разумно, оставил он на потом.

Справка для малограмотных.

Половина портвейна — это одна бутылка портвейна. Большая. То есть семьсот, как в аптеке, отмеренных строго, алкогольных, крепленых граммов.

Другая же половина пахомовского портвейна — это другая бутылка. Оставленная на потом.

Примечание. Для несведущих.

На самом же деле бутылок портвейна было четыре.

Одна была честно выпита, почти целиком, Пахомовым. Но часть ее, на хаяву, конечно же, выпил Куб.

Вторая бутылка была оставлена для того, чтобы выпить ее после вечера.

Третья бутылка, а также четвертая предназначались для того, чтобы выпить их вечером, где-нибудь в гостях.

Таков расклад. Такова нехитрая арифметика.

Таковы стратегия с тактикой.

Аркаша Пахомов знал, как ему поступать с портвейном. Опыт большой, накопленный постепенно в суматохе богемной, подсказывал: пить-то пей, да не все ведь сразу, что-нибудь оставляй, дружище, обязательно, на потом.

Покурил Аркаша Пахомов. Курил он обычно немного. Мог обходиться без курева часами, целыми днями. Но когда выпивал — непременно, с удовольствием явным, закуривал.

Вот и теперь, в туалете, после выпитого портвейна, хорошо пошедшего, кстати, обстоятельно покурил.

Окурок «Дымка» пахомовского был еще довольно большим, поскольку он сигарету выкурил, по привычке походной, лишь наполовину, и смогист, поразмыслив немного, взвесив тут же все «за» и «против», почесав кудлатую бороду, с пугачевской шальной хитринкой в чуть сощуренных, для порядка, очевидно, хмельных глазах, почему-то решил на нем хоть немного да сэкономить.

Курнул он еще разок, затянулся со вкусом, покрепче.

А окурок «Дымка» своего поступательно, аккуратно, как положено, загасил, даже, на всякий случай, для верности, полюбил — и положил, на хранение, временное, конечно, чтоб достать его после вечера поэтического, вернее, после выпитого после вечера, там, в грядущем, глотка портвейна, припасенного на потом, совершенно разумно, привычно, как и следует поступать всем на свете, в карман пиджака.

Зашли Кублановский с Пахомовым, твердой походкой, в ногу, по-смогистски чекая шаг, расправив сутулые плечи по-суворовски, вместе, в зал. Прямо к началу вечера.

Сидят они в первом ряду.

Стихи Вознесенского слушают.

Знаменитый поэт на сцене все читает, читает стихи.

Он в ударе, он на подъеме.

Ему внимает восторженный, людьми переполненный зал.

Но вот Вознесенский, читающий стихи, почему-то все чаще начинает поглядывать в зал, а если сказать конкретно — в первый ряд, где сидят и слушают его, с интересом немалым, Кублановский с Аркашей Пахомовым.

Вначале поэт поглядывает на двоих друзей с любопытством.

Потом — уже с беспокойством.

Смогисты, Куб и Пахомов, этого не замечают.

Слушают с интересом, слегка возросшим, стихи.

Лицо у поэта на сцене, знаменитого, Вознесенского, багровеет, потом бледнеет, а потом уже и вытягивается.

Он со сцены все чаще делает какие-то знаки смогистам.

Те сидят себе в первом ряду и на все это — ноль внимания.

Вознесенский читает свой коронный, общеизвестный, звучащий сегодня по-новому, с тревожной окраской, «Пожар в архитектурном». Читает, повышая свой голос поставленный, эстрадой натренированный, до звучанья, напоминающего сигналы машин пожарных, мчащихся не куда-нибудь, на прогулку, допустим, загородную, не просто так, от безделья, но именно на пожар.

Доходит поэт до строк с восклицанием, выразительным и отчаянным:

— Ой, горим!

И в зале вдруг начинают кричать, все чаще, все громче, все дружнее:

— Горим! Горим!..

Клубы сизого, едкого дыма валят в зале, из первого ряда.

В зале — дым! Или, может быть, — смог?

И тогда, на глазах у публики, вскакивает, с запозданием изрядным, со своего места в первом ряду Аркаша Пахомов, смогист, у которого, к изумлению всего многолюдного зала, из кармана его пиджака, валит сизый, клубящийся дым.

И немедленно принимается тушить свой старый пиджак.

Хлопает по карману, со всего размаха, усердно, богатырской правой рукой.

Хлопает по карману не менее богатырской, смогистской левой рукой.

Срывает с себя пиджак, бросает его, словно шкуру сраженного зверя, на пол, топчет его ногами.

Трудится. Тушит пожар!

Недокуренный в туалете злополучный «бычок» сигареты сам по себе неожиданно загорелся в его кармане.

Видать по всему, энергия со сцены громко звучавшего, передового, новаторского, хотя и, все понимали, официально давно уже разрешенного, узаконенного, поэтического тем не менее, огнеопасного слова была такова, что окурок вскоре воспламенился.

А может быть, сопротивление, внутреннее, пахомовское, всеобщей советской эстрадности, с упорным противостоянием, вполне оправданным, ей, надоевшей, пусть даже, из вежливости, мысленным, заодно с непохожим на все дозволенное, совершенно своим горением, личным жаром души возвышенной, к этому привело.

Как бы там ни было, но «Дымок» произвел обильнейший дым.

Боролся с пиджачным пожаром Аркаша усердно и долго.

С присушим ему артистизмом житейским, неподражаемым.

Зрители, друг за дружкой, помаленьку стали смеяться.

И вскоре огромный зал уже содрогался от хохота.

Кублановский, взявший Пахомова с собою, трясся от ужаса и просто не знал, что делать, как ему, бедолаге, быть.

Поглядывая молящими глазами на Вознесенского, разводил безутешно руками — не он, мол, в том виноват, что в зале случился — пожар.

Зал — всю грохотал.

Вознесенский, стоя на сцене, совершенно не представлял, как ему вести себя в этой непредвиденной ситуации.

То улыбался он, вынужденно, неестественно, то делал Кубу суровое лицо, укоряя молча подопечного своего за такой вот, с бухты-барахты, ни с того ни с сего, мол, съешьте-ка, от печки, из-за «бычка» недокуренного, подарочек.

Зал — от души веселился.

Пахомов же, как обычно, вошел основательно в роль — и довел нелегкое дело тушения вдруг возникшего не где-нибудь в стороне, а в кармане его пиджака собственного, — пусть и старого, ничего, но зато и удобного для него, смогиста, — пожара, до логичного, артистичного, восхитительного конца.

Всем в зале было уже, понятно, не до стихов.

И такой вот резкий, неожиданный поворот авангардный, в ходе вечера поэтического знаменитого официального, вот, мол, есть у нас и такие, то-то, Запад, знай свое место, понапрасну не суетись, оставайся с носом, гуд бай, будь здоров, поэта-новатора, был воспринят всеми собравшимися, как поистине драгоценный, не иначе как свыше, подарок.

Жаль, конечно, действительно, жаль, что на месте такого вместительного, нынче выгоревшего кармана в пиджаке пахомовском старом образовалась изрядная, дымящаяся дыра.

Но и ее наличие ловко сумел обыграть артистичный, сметливый Пахомов.

Показывая всем зрителям свою, незнамо зачем, неожиданно вдруг обретенную, в пиджаке, на месте кармана, огромнейшую, как будто вырытую ковшом экскаватора, наподобие котлована, или, возможно, ту самую, страшноватую, фантастическую, почему бы и нет, согласитесь, черную, космическую дыру — и откровенно, сознательно, с подковыркой, с острой занозой, как обычно, да все ж с подполейкой очевидной, литературной, как ему и положено, впрочем, смогисту, артисту, поэту, намекая с улыбкой на прозу Вознесенского, новый шедевр, или, может, очередной опус, очень уж авангардный, с метафорически-круглым и многозначительно-кратким, названием смелым, «О», взмахивал он рукой, вздыхал глубоко и устало, покачивал молодецкою, повинною головою, потряхивал пугачевскую кудлатую бородою, — и этак со вкусом, с чувством, очень уж по-мужицки, по-пахомовски, по-простецки, но, однако же, со значением, рассудительно, философски, приговаривал:

— Это — О!

И зал, хорошо понимая, что к чему, довольно смеялся.

Так, на фоне эстрадного чтения Вознесенского, с планом вторым, то есть видом насквозь прогоревшего, а совсем ведь недавно бывшего совершенно целым, кармана, сымпровизирован был, пусть и вынужденно, да зато с театральным подлинным блеском, артистичным Аркашей Пахомовым собственный, оригинальный во всех отношениях, ставший открытием интуитивным, для него, а для публики ставший событием несомненным, о котором долго потом расходились по всей Москве всевозможные, с примесью домыслов и догадок о сути явления, слишком дымного, но тем не менее интересного, видимо, вышедшего из таинственной области СМОГа, не иначе, туманные слухи, новаторский, можно сказать, авангардный, смогистский спектакль.

Смесь хеппенинга с Театром на Таганке, гремучая, жгучая, плюс фирменные Аркашины колорит, постановка, игра...)

Но вернемся к Юре, поскольку разговор-то сейчас — о нем.

Он станет одним из авторов альманаха «Метрополь», чтения любимого то ли сказочного, то ли вполне реального, существующего поныне голого короля.

И конечно же, и не подумает предложить его составителям, Жене Попову и Виктору Ерофееву, пригласить для участия в этом писательском альманахе меня, Губанова и Величанского — давних своих, как считалось, друзей.

Но это — вполне ведь в русле, в рамках его всегдашнего, старательно-эгоистичного, с оглядкой на окружающих, с выгодой для себя, любимого, поведения.

И не такое бывало лучшему.

И хорошо, что в «Метрополе» не было ни меня, ни Губанова, ни Величанского.

Не больно-то благородная, коммерческая затея.

Торговля. С прицелом на будущее. Пиар, как сейчас говорят.

Альманашники преспокойно без нас троих обошлись.

Бог миловал нас троих. Обошлись мы — без альманаха.

Ну а Куб — он что? Он и в Африке, и в «Метрополе» — просто Куб.

И кому-нибудь он, возможно, интересен и даже люб.

Он будет, без шума лишнего, подрабатывать иногда переводами, публикуемыми, безотказно, под псевдонимами, — о чем я однажды, случайно, от него самого, подвыпившего, несдержавшегося и по-глупому прихвастнувшего этой тайной возможностью неплохого литературного заработка, с удивлением, перешедшим в понимание скрытой сути всех тогдашних поступков его и ходов осторожных, узнаю.

А больше он по московской и ленинградской традиции творческой интеллигенции будет, привыкнув к этому, работать ночным сторожем — преимущественно при храмах.

Издаст за кордоном, в «Ардисе», свое небольшое «Избранное», составленное, предвзято и достаточно бестолково, но зато, к его долгой, кубовской, ничем не оправданной гордости, чтимым им с неизменным, расчетливым, затверженным им основательно, как дважды два, пиететом, со временем заматеревшим и даже забронзовевшим слегка Иосифом Бродским.

(Помню, осенью удивительной шестьдесят четвертого года получил от меня он впервые, на прочтение, для знакомства, некоторые тексты машинописные Бродского.

И восторгов тогда — не заметил я.

Так, обычное любопытство.

И не больше. Но и не меньше.

Потому что оно, любопытство, превратилось в трезвый расчет.

Ведь под лежащий камень и вода никогда не течет.

Камень был с места сдвинут.

Потекла свободно вода.

Жребий был Кубом вынут.

Да не тот. Но уже — навсегда.)

Узнает он вкус гонений, преследований. В своем, разумеется, скромном весьма, ближе к телу своя рубашка, ближе к делу еще на шаг, да и только, всего-то, масштабе.

Об этой грозной поре он подробно рассказывал мне.

И собственное представление об этом его страдальчестве давно у меня сложилось.

И когда его положение окажется совершенно отчаянным, просто безвыходным, по словам его, и решит он поскорее рвать когти отсюда, из отчизны его, дорогой и любимой, и вынужден будет он, смогист в отдаленном прошлом, гражданин, с некрасовской мыслью, что поэтом он может не быть, но крутым гражданином, с большой буквы, быть, безусловно, обязан, диссидент и борец за правду, поторапливаемый усердно соответствующей, с Лубянки, дружелюбной организацией, и, по его словам собственным, с из же, органов, деятельной на диво и на пользу пошедшей помощью, — о чем будет слышать мне и тяжело, и грустно, и слишком уж неприятно, уже в конце девяностых, когда он все это рассказывал у меня в Коктебеле, запросто, со смешком, без тени смущения, как будто бы о житейском, простейшем, ну проще некуда, эпизоде, — покинуть родину, чтобы там, на Западе (быстренько устроив свои дела, приспособившись к новой жизни довольно легко и просто, думая лишь о себе, других же в упор не видя, как говорили мне, помню, русские парижане, добавляя к характеристике

Юры по-русски точные, из области матерщины, суровые выражения), в семилетней своей эмиграции, получив, что вполне понятно, некоторую известность, тосковать о ней, о своей родине, им покинутой, с участием предупредительных чекистов, и ждать возвращения.

Аркашу Пахомова жизнь помотает без всякой пощады.
 Филфак МГУ он, студент, оттуда никем не гонимый никогда, почему-то оставит.
 Зачем это сделал он — до сей поры непонятно.
 По крайней мере — друзьям.
 Непонятно было — родителям его, замечательным людям.
 Ему самому — понятно?
 Не знаю. Его — не спрашивал.
 Мог бы вполне и окончить, между делом, университет.
 Мог бы. Многое — мог бы.
 Если бы... Ох, это «если бы!»
 Надоело донельзя оно.
 Хуже горькой редьки, действительно.

Только вспомнишь кого-нибудь — сразу же возникает (с ахами, охами, с причитаниями, грустными вздохами, в щель войдя меж двумя эпохами неким клином, не тем ли самым, на котором, вполне обоснованно и законно, сошелся клином, в старой песенке, белый свет, и заклинило ситуацию, все, привет, и пошло-поехало, и тогда понимать начинаешь, в чем причина всей кутерьмы, сожалений, недоумений, всех надежд и всех впечатлений, всех терзаний и всех сомнений, всех скитаний среди зимы), это самое, пресловутое, бесконечное, видимо, «если бы».

Если бы. Да кабы.
 Во рту не росли грибы.
 Во рту — выпадали зубы.
 Гремели медные трубы.
 Зачем? Чтоб сквозь них пройти.
 А также — еще сквозь огонь.
 И сквозь воду. Для полного счастья.
 Аркаша — сквозь это прошел.
 И себя в итоге — нашел.
 Такого, каков уж есть.
 Так чего же теперь не счесть?
 Стихов? Приключений? Ран?
 Смог, и только. Сплошной туман.
 Я догадываюсь, что им двигало.

В свою раннюю, светлую пору особенно остро и радостно ощущал он себя — поэтом. Ему хотелось не просто на друзей своих близких равняться, на меня или на Губанова, нет, ему хотелось попробовать встать с нами вровень, если выйдет, ему хотелось — состояться, празднично сбыться.

И ежели и не удастся подняться до нашего уровня, то хотя бы тогда — дорасти до уровня своего, осознать этот собственный уровень и потом уже, понимая реальный диапазон личных своих возможностей, постараться развить их в стихах своих в дальнейшем как можно лучше.

Поэтому, да, поэтому, только так, и никак иначе, было важно ему — расстаться с относительным благополучием.

Ему надо было, кровь из носу, — бросить себя в жизнь.

Вместе со мной и Михаликом Соколовым, безвинно изгнанными со скандалом из МГУ, он, оставивший свой филфак добровольно, к недоумению всех приятелей многочисленных, а по-моему, для того, чтоб найти, не в Москве, среди застолий, похождения богемных, чтений спорадических, где придется, лишь бы слушать хотели, стихов, но в скитаниях и трудах, незаметных чужому глазу, и полезных, прежде всего, для души, себя самого, вскоре тоже окажется в археологической, надо же, куда нас тогда занесло, экспедиции на Тамани, будет ездить с нами по Крыму. Там, на юге, летом, в жару, в отдалении от столицы, в тех краях, которые были для него, москвича, в диковину, расцветет и окрепнет его житейский, высокого класса, так скажу я всем, артистизм.

Там, на приволье, у моря, почувствует он дыхание первозданной, чистой свободы. Личной, своей, человеческой.

И, разумеется, творческой.

И впитает в себя, навсегда, эти светлые, животворные, благодатные, свежие токи.

Там наконец-то появятся уже совсем узнаваемые, пахомовские стихи.

Пусть их будет немного. Неважно.

Ничего. Не в количестве дело.

Но они заживут уже собственной, независимой, бурной жизнью.

И сам Пахомов решительно перекроит свою жизнь.

В ее заранее, видимо, запланированную родителями, действительно замечательными, подчеркну еще раз, людьми, да и всем бытийным раскладом на тарелочке преподносимую устроенность, добропорядочность, он примется как-то настойчиво, неосознанно ли, осознанно ли, уж не знаю, вносить дисгармонию, разрушать своими руками что-то прочное, очень устойчивое, что могло бы его поддержать, укрепить, исцелить, сохранить, начнет крошить это целое на кусочки, вполне решительно, создавая себе проблемы, окунаясь в боль, во все то, что находится где-то вне жизни, которую выстроить искренне когда-то хотели ему, и он охотно, все чаще, уходить будет в это кипение, дрожжевое, шальное брожение, потому что, волею судеб, лишь оттуда, из этого месива, жизненного, дорожного, путаного, тревожного, томящего и влекущего в горнила сложного сущего, сумеет улавливать он и впитывать жадно в себя, принимать, непрерывно, все время, год за годом, дозу за дозой, уже ставшие для него просто необходимыми, как наркотик, токи свободы.

И это станет всего лишь началом его путешествий, экспедиций, от юга до севера, от запада до востока.

Завладеет им страсть отныне — к передвижению в пространстве.

Невозможно противиться ей.

Лучше — уйти в эту страсть, дать возможность ей длиться во времени, понадеявшись, что она благотворно скажется в творчестве.

Так? Вроде так. Однако не учитывалось почему-то, что творчество — это большой, целенаправленный труд.

А что это значит? Значит — и усидчивость, и терпение, и умение ограничивать себя по части различных, неизменно бурных страстей, во имя одной, важнейшей, благородной, ответственной цели — писания как такового. Создания новых, собственных текстов — стихи ли это, проза ли. Здесь у Аркаши получилась, увы, промашка.

Перепутал он вдохновение творческое с вдохновением, читай точнее — опьянением, жизненным, с волей, гульбой и отсутствием тормозов, ставшим вскорости просто инерцией, пожирающей годы, отпущенные непосредственно для серьезного, настоящего, литературного пахомовского труда.

С годами пойдут у него работы более мирные, спокойные, приземленные, «оседлые», можно так назвать их, все, оптом, без вычетов, без ненужных сопоставлений, вроде сторожевой или суточного дежурства в какой-то загадочной бойлерной.

Но и там все равно будет сказываться коварная эта инерция, бороться с которой было, да и будет, ему не под силу.

Писательский труд, все привычнее для себя, незаметно как-то, все охотнее и все чаще будет он заменять артистизмом житейским своим, пахомовским, — так намного проще, удобнее. Пусть это эрзац, имитация творческого процесса, не пугайтесь этого слова, можно сказать по-другому, творческого состояния, — а все же хоть что-то, вроде бы, в этом все-таки есть.

Ощущение несложившейся, как того хотелось бы, жизни — будет его тяготить, а позже и угнетать.

Но кто виноват, скажите в этом? Не сам ли Аркадий?

Чего он хотел, вообще, в этой, какая уж есть, его, а не чьей-нибудь жизни?

Кайфовать, да и только? И все?

Или — честно, на совесть, вкалывать?

Выбор есть всегда. Выбор — прост.

Сделать выбор — он не решался.

Убоялся трудов? Пожалуй.

Сознавал: не потянет? Возможно.

Просто — жил, как жилось? Конечно.

Все его — осталось при нем.

Стихи он со временем станет писать все реже и реже. Похоже, он их и вовсе перестанет писать. Почему?

Горение, может, исчезнет?

Не хотелось бы так мне думать.

Вроде будет в нем теплиться все-таки непокорный, живой огонек.

Былой артистизм, лишь изредка, ненадолго, на краткое время, возрождаясь, неожиданно сменится стариковской какой-то усталостью.

Небольшие, не очень частые, публикации в периодике никакой там особой радости Аркаше не принесут.

Станным, быть может, покажется это некоторым, несведущим, людям, но ведь Пахомов, по существу, если правду говорить о его стихах, вполне советский поэт, в том смысле, что при желании преспокойно мог бы печататься он в советских, любых, изданиях и даже, вполне вероятно, книжку со временем выпустить.

Ничего совершенно, разительно не похожего на советскую, не любимую нами продукцию, как у меня, например, или у Лени Губанова, когда ну никак мы не вписывались в действительность литературную, у Аркадия вовсе нет.

Не авангардист никакой.

Традиционность сплошная.

Всем понятные сочинения.

А поди ж ты, тоже остался за бортом — никуда не вписался.

По лености, что ли, давнишней?

Или, может быть, по причине затянутости своей артистичной, вольготной инерцией?

Что сказать? И о чем гадать?

Сам пусть во всем разбирается.

И в себе самом — в первую очередь.
Советский поезд — ушел.
Навсегда. Его не вернешь.
Демократический поезд — еще ползет на теперешнем историческом повороте.
Догонять ли его бегом, идти ли пешком, по инерции?
Кто знает? И кто подскажет — как ему себя нынче вести?
Вольному, как говорится, далеко не случайно, воля.
Какая уж там ни есть, но существует — доля.
С привкусом алкоголя.
С отзвуком давней боли.
С тем, что знают лишь мгла вдали да ветер в пустынном поле.
Иногда, при встрече со старыми друзьями своими, будет он читать стихи, проверяя уже не сами стихи, но, скорее, друзей: не забыли ли?
Как — слушают? Как теперь, с возрастом, — воспринимают?
Нет ли подвоха, иронии?
Есть ли живой интерес?
Нет, друзья стихи его помнят.
В них остался — былого свет.
А вот жизнь, с таким ослепительным, карнавальным, праздничным блеском начинавшуюся когда-то, увы, не сделать иной.
Нет никакой надежды — на изменения в жизни, на издания, своевременные или, пусть, наплевать, запоздалые?
Так создай же и береги свой внутренний, собственный мир! Живи в нем. Он — твой. Только твой.
Работай. Не распадайся.
В комок себя собери.
Держись. Выживай. Борись.
Нет, было не до борений.

Алкоголь, этот вечный российский спутник и собеседник безысходности ленивой, будет, год за годом, десятилетиями, разрушать организм богатырский, с которым не так-то легко, даже не сразу, справиться, но страшное дело свое он, коварный, все-таки сделает и все, что успеет, разрушит, — и спохватится все же Аркадий, с запозданием, но спохватится, и поймет он, что этот яд злополучный, теперь, в его положении незавидном, преизрядно ему надоел.

Скажутся, как ни крути, и бывшие личные драмы.

Всякое с ним бывало.

Много чего — сказалось.

И скажется, видимо, впредь.

Не без этого. Жизнь есть жизнь.

Что же дальше? Что делать? Как быть?

Кажется мне, что к Аркадию, медленно, постепенно, пусть и так, хорошо, замечательно, если это действительно так, если есть надежда опять на духовное возрождение, на желанное пробуждение речи русской, в новых стихах, изгоняющих давний страх из души, из сердца, из дома, если будет все по-другому, по-хорошему, даст-то Бог, если рано еще итог подводить, жизнь и свет в ней любя, возвращается вера в себя.

И я, много раз ему помогавший в прежние годы, в меру сил своих и возможностей, вновь стараюсь ему помочь.

Коля Мишин, Лукьяныч, изгнанный из МГУ, позднее с удовольствием будет учиться, разумеется, в театральном институте, потом окончит зачем-то и Литинститут.

Стихи окажутся в прошлом.

Все реже и реже будет, с годами, бывать он в Москве, да и в своем родном Климовске подмосковном, — где в свое время, а именно в шестьдесят четвертом году, в короткий его период учебы в университете, в том ПТУ, где Коля тоже успел когда-то поучиться, был оборудован специальный, для юных ремесленников, земляков его, стенд о нем, знаменитости местной, большой, красочный, с фотографиями и текстами, стенд, увенчанный крупной надписью: «От ремесленника до искусствоведа». Так-то!

Ах, Климовск! Ну что за город!

И жил-то ведь Коля в нем не на какой-нибудь там, а на Театральной улице.

А на какой же еще улице в этом городе можно жить человеку-театру?

Ах, Климовск! Чудесный город!

Это там, на родине малой, в отрочестве своем, оказавшись, незнамо зачем, однажды на аэродроме, залез любопытный Коля, из интереса к жизни, в самолет учебный и что-то там потрогал, подвигал, пошупал, ни малейшего, разумеется, понятия об устройстве машины этой, летающей высоко над землей, не имея, что-то там нажал — и взлетел, к ужасу находившихся на аэродроме летчиков и механиков, и полетал в родных небесах, да еще и умудрился благополучно приземлиться на том же месте.

Но это ведь — Коля Мишин!

Да мало ли что с ним в жизни бурной происходило!

Ах, милый, загадочный Климовск!

Это там, спасаясь от армии, отправился Коля Мишин, ведомый чутьем своим, говорящим ему, куда идти, напрямик в психушку, рассудительно прихватив с собою, на всякий случай, подаренную ему мною перепечатку самиздатовскую моей книги тогдашней, «Лето 65», и залег там, со знанием дела, как медведь в берлоге, надолго, донимая врачей регулярным чтением им, бедолагам, вслух, да еще с выражением, артистично, по-театральному, по-смогистски, стихов моих, и достал-таки их, страдальцев, довел несчастных до белого, как и следовало, каления, да так, что, плюнув на все, измученные врачи, поторапливаемые бедным, особо измученным Колей, страдающим от давления подскочившего, главным врачом, навсегда, чего и хотел он, чего он и добивался, освободили Мишина от совершенно ненужной ему, ненавистной армии.

Ах, Коля! «Ужасный рыжий мужичок!» Человек-театр.

Все чаще станет он жить в провинции — в Казахстане, в Сибири. Ему понравятся просторы необозримые Союза. Придет он к выводу, что там он лучше себя чувствует, чем в Москве.

Будет ему там проще ощущать себя человеком из столицы, из центра, временно, по работе, с призванием связанной, пребывающим где-то в глуши.

Хлестаковское нечто будет в этом — впрочем, как и всегда.

Но это ведь Коля Мишин!

Как же ему заглушать авантюрную жилку свою?

На кой, объясните, ляд?

Нет уж. Очень она сгодится.

Николай Лукьянович Мишин, друг мой ситный, бывший смогист, герой преданий московских былых, человек-театр, будет чувствовать, между прочим, себя вдали от Москвы ну прямо как рыба в воде.

Какое поле для смелой деятельности, в легенду незамедлительно рвущейся!

Здесь-то есть где ему разгуляться, показать себя всем наивным и восторженным провинциалам наконец-то во всей красе, поставить себя должным образом, чтобы все здесь его ценили, чтобы все его уважали.

Коля Мишин — парень не промах.

Он поймет без всяких подсказок, сам, где жить ему лучше — пока что.

А потом — посмотрим. Потом — сам поймет он, как ему быть.

Путь его становления будет довольно долгим.

Почему? Да так уж получится.

Не сразу Москва строилась.

Не сразу и Мишин Коля выходил на верный свой путь.

Стихи он писал? Писал.

В смогистах числился? Числился.

В МГУ учился? Учился.

В театральном учился? Учился.

И даже в Литинституте учился. В кузнице кадров советских, литературных.

Спектакли ставил? Конечно.

Пьесы писал? Писал.

Состоится он как драматург.

Пьесы его поставят на сценах разных театров.

Он однажды мне даже афишу одного из спектаклей пришлет. Говорил я об этом выше, но скажу опять. Чудеса, пусть и редко, да все же бывают.

Я с ним даже работать буду.

Напишу по его убедительной просьбе стихи и песенки для пьесы, в семьдесят третьем сочиненной Колей, на пару с бывшим смогистом, подавшимся в искусствоведы, Марком Янкелевичем, детской сказочки, пустячка, для театра кукол.

Пьесу эту, как сообщит мне Коля, поставят в театрах.

Но никаких гонораров, ни копейки, я не получу.

Коля изредка будет писать мне письма, в которых станет, с подробностями, сообщать, как хорошо и вольготно живет он вдали от столицы, в сплошных пирах и в довольстве, а однажды услышит по радио, по западным голосам, обо мне передачу — какой я, по их закордонному мнению, серьезный русский поэт, и порадует за друга, но пора ему снова идти на пир к начальству, на той, плов кушать и пить вино, а там подоспеет пора ехать в горы, на воздух, на солнце, на каток, на Медео, потом — возвращаться в театр, в круговерть повседневных дел и пиров, быть с людьми, в коллективе, трудиться неустанно, в честь Мельпомены, потому что жизнь интересна и прекрасна, в любом краю.

Тяга к знаниям год от года будет крепнуть и возрастать.

Надо Коле отдать должное, тяга эта жила в нем всегда.

Он соберет большую, солидную библиотеку.

Иногда, между делом вроде бы, но, конечно же, со значением, будет он говорить мне, таинственным, пониженным несколько голосом, чего только нет из книг у него, эх, чего только нет.

Сколько книг! Да какие книги!

Все больше их. Некуда ставить.

Все забито книгами в доме.

А количество их все растет.

Потому что ему невозможно удержаться и не купить очередную книгу.

Вдруг она потом пригодится?

Пусть стоит, наряду с другими, у него на полках, заполненных до предела, до возможности, даже видом своим одним неизменно радуя глаз!

Книги — это ведь как наркотик.

Пристрастишься — и собираешь.

Книги в доме — это прекрасно.

Вот и стал книголюбом он.

Может себе позволить книги приобретать.

Может в часы досуга книги теперь читать.

Наговориться вдоволь, почудить немного, то снова, неожиданно и надолго, куда-то вдруг исчезать.

Побольше, во всем, игры!

Побольше, всегда, таинственности!

Пусть вспомнят, пусть говорят!

Загадки, сплошные загадки.

Появится вдруг, нарасскажет такого, что поразишься, что и сам иногда не знаешь, верить ему или нет, хотя хорошо понимаешь, что верить надо ему, потому что это не кто-нибудь там, незнакомый, а Мишин, а с ним только это вот самое необычное и бывает, наведет побольше туману, почти заграничного смога и опять растворится вдали, чтоб, возникнув нежданно рядом, новой сказочной правдой своей фантастической мишинской жизни озадачивать, огораживать, завораживать, изумлять.

Он по-своему глубоко узнает жизнь. То есть — явь. Говоря попроще — действительность.

Жизнь мишинская, его, личная, это что-то иное, над явью.

Вне ее. Но и связано с нею.

С детства. С юности. Навсегда.

Явь свою Лукьяныч — творит. Создает ее сам. Для яви — той, в которой живет, существует.

Чтобы жить интересней было.

Чтобы радость в душе жила.

Творчество, так давно властвующее над ним, будет требовать необычных, все новых и новых возможностей, и для жизненного театра, и для прочих, не менее праздничных, с артистизмом на каждом шагу, карнавальных почти, с полумасками, с конфетти, серпантинном, шутихами, с тихой музыкой недосказанности, с ворожкой, с обязательным таинством, прямо здесь, на углу, областей неутомимой его деятельности, то есть — непрерывного, многоцветного, с небывалыми вариациями, бесконечного выражения, в ипостасях различных, во всяческих, интересных ему всегда, чередую сплошнойю тянущихся сквозь пространство и время, роящихся на пути его, ситуациях, каковы бы ни были эти ситуации, в новых ролях, в сочиненных им на ходу, на бегу, на лету, спектаклях, в новых действиях, мистериях новых, и в историях, чисто житейских, и в полетах буйной фантазии, заносящих в такие дали и в такие глубины и выси, что поди-ка еще разберись, где ты, собственно, вдруг оказался, и туда, где другие сроду не бывали, а он бывал, и поведать готов об этом, при желании, под настроение, выражения органичного, здесь и всюду, себя самого.

А потом он вернется в свой Климовск.

В свой родной подмосковный город.

И заживет в нем, вполне спокойно, благополучно, на Театральной улице, куда не переедет на другую, поблизости, улицу, в квартиру побольше, новую, где я уже не бывал, — на своей малой родине, мишинской, горячо любимой им с детства, заживет со своей семьей.

Но работать будет — в Москве.

Станет директором некоего новоявленного издательства.

Назовет его — «Палея».

А потом — «ООО Палея — Мишин». Сразу три «о» в палее — и единственный Мишин.

Посолиднее. Даже бородку небольшую, с понтом, отпустит.

Ездить, в столицу и в Климовск, туда и обратно, на службу и домой, будет он по-прежнему, по привычке, на электричке.

И, конечно же, без билетов.

Соколова Сашу потянет к «суровой прозе» привычной для него, далеко не тепличной, совсем не столичной жизни, а с ней заодно и к прозе, в смысле уже конкретном, литературном, то есть к тому непростому занятию или, точнее, делу, связанному с призванием, сложному, многотрудному, которое выбрал он, отринув разом, решительно все прочие, для себя.

На вечерах смогистских читал он стихи свои, не шедевры вовсе, но все-таки уже весьма интересные.

Повествовательная манера письма всегда Саше была присуща, но эта повествовательность — совсем особого рода, в ней, как в лесной реке, загадок полным-полно, дна ее не достать почему-то, неторопливое течение вдруг убыстрится, и на витке почти каждой отточенной Сашиной фразы, как за речным поворотом, читателя ждет неожиданность, ждет обязательно тайна странноватая, ждет парадокс.

Гротесковость и пронзительная свежесть мятежной мысли, трезвейшая констатация реальности и ее же, реальности, алогизмы, гуляющий, где ему хочется, без маски и в маске, абсурд, чувство стиля, тонкое, словно игла в домашнем шитье, острое, с каплей крови на пальце, с запахом йода, прижигающего болезненный, хоть и крохотный вроде укол, владение русским словом — лишь некоторые приметы поэтики соколовской.

По личным своим причинам уехавший в эмиграцию — и там, в закордонных странах, прижившийся постепенно, поддержанный очень вовремя Набоковым, станет Саша одним из достойных, ярких современных русских писателей.

А некоторые считают — одним из лучших писателей.